Анна Ахматова

ПОСЛЕ ВСЕГО

Анна Ахматова ПОСЛЕ ВСЕГО

ВСЕСОЮЗНОЕ
ОБЩЕСТВО КНИГОЛЮБОВ

Анна Ахматова

ПОСЛЕ ВСЕГО

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО МПИ
1989

ББК 84Р7
А95

Часть средств, полученных от данного издания, будет перечислена на расчетный счет «Реабилитационного центра для подростков и взрослых инвалидов с детским церебральным параличом (ДЦП)» Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома.

Предисловие *Р. Д. Тименчика*

Составление и примечания *Р. Д. Тименчика* и *К. М. Поливанова*

Оформление художника *А. Белослудцева*

Ахматова А. А.

А95 После всего.: В 5 кн./Предисл. Р. Д. Тименчика; Сост. и прим. Р. Д. Тименчика и К. М. Поливанова.— М.: Изд-во МПИ, 1989.— 288 с.

Книга охватывает творческий путь Анны Ахматовой с 1921 по 1966 годы. Стихи Ахматовой соседствуют с высказываниями современников о ее творчестве и воспоминаниями о ее жизни.

А $\frac{4702010200—36}{184(02)—89}$ **Без объявл.**

ББК 84Р7
А95

ISBN 5-7043—0001—4

Анна Ахматова: 1922—1966

«После всего» — так впоследствии назвала Ахматова первый раздел в сборнике «Anno Domini», составившемся после смерти Блока и Гумилева. В известном смысле вся ее поэзия 1920—1960-х годов стоит под знаком этого ощущения «жизни после конца». Евгений Замятин в письме, посланном в 1920-е годы в Нью-Йорк, сетовал на «однообразное меню» Ахматовой: «собственные воспоминания». Это, разумеется, не значит, что Ахматова, как любили говорить критики последнего сорокалетия ее земного существования, «живет прошлым». Она жила диалогом с прошлым, сопоставлением времен, их взаимостолкновением и взаимопроникновением. Об основной философеме ее позднего творчества можно было бы сказать теми же словами, которыми один русский философ (Н. О. Лосский) резюмировал работы другого русского философа (С. А. Аскольдова): «...кроме нашего времени, в котором новыми содержаниями бытия вытесняются старые, он говорит о возможности такого порядка, в котором прошлое не увядает и сохраняет свою жизненность наряду с все возрастающими новыми содержаниями». Ранняя биография Ахматовой все время всплывает в ее поздних стихах. Само многократное возвращение прошлого, встреча с «той, какою была когда-то», становится одной из сквозных тем ее поэзии. Поэтому следует вспомнить о первом тридцатилетии ее жизни.

Детские годы Ахматова провела в Царском Селе, где училась в Мариинской гимназии (каникулы с 7 до 14 лет проводила под Севастополем на берегу Стрелецкой бухты — впечатления и переживания этих лет отразились в ее поэме 1914 года «У самого моря»). Стихи начала писать в 11 лет (несохранившееся стихотворение «Голос»). Самые ранние из уже известных нам стихов Ахматовой относятся к 1904—

1905 гг. На становление литературных интересов Ахматовой некоторое влияние оказал муж ее старшей сестры С. В. фон Штейн. Глубоким личным потрясением для нее была гибель русского флота под Цусимой и события 9 января 1905 года.

В конце 1903 года гимназистка Горенко познакомилась с Николаем Гумилевым, который был старше ее на три года, и на протяжении нескольких последующих лет образ царскосельской подруги занимает ключевое место в поэзии Гумилева. В 1905 году родители разошлись, Анна с матерью переехала в Евпаторию. Зимой 1906/1907 г. училась в выпускном классе Киево-Фундуклеевской гимназии. Тогда же одно ее стихотворение было напечатано Гумилевым в русском журнале «Сириус», издававшемся в Париже. Зимы 1908/1909 и 1909/1910 гг. снова проводит в Киеве, где учится на Высших женских юридических курсах.

В 1900-е годы Ахматова испытывает сильное воздействие прозы Кнута Гамсуна, поэзии Брюсова и Блока. Под влиянием брата Андрея проникается интересом к творчеству французских символистов и «прóклятых» (П. Верлена, Ш. Бодлера, Ж. Лафорга и др.). Уже в раннем детстве ею прочитаны романы И. С. Тургенева, а в связи с «Братьями Карамазовыми» Ф. М. Достоевского Ахматова впоследствии вспоминала о своей «первой бессонной ночи». Источником сведений о литературных новинках были для нее парижские и петербургские письма Гумилева — переписка была сожжена после их свадьбы, состоявшейся в Киеве 25 апреля 1910 года.

Весной 1910 года Анна Гумилева проводит «медовый месяц» в Париже, где знакомится с художником А. Модильяни. В 1910—1916 гг. живет в основном в Царском Селе. В конце 1910 года, в отсутствие Гумилева, уехавшего в Африку, посылает Брюсову свои стихи для публикации в «Русской мысли» с вопросом — «надо ли мне заниматься поэзией», но ответа не получает. К этому времени ею уже избран псевдоним «Ахматова» — по девичьей фамилии прабабки по материнской линии. Четыре ее стихотворения С. К. Маковский принимает в журнал «Аполлон» (их обнародование вызывает глумливую пародию В. П. Буренина).

По возвращении Гумилева из Африки 25 марта 1911 года Ахматова прочитала ему стихи, написанные за последнюю зиму, и, наконец, получила от него одобрение своей литературной деятельности. 22 апреля того же года она впервые читала свои стихи в Обществе ревнителей художественного слова.

Лето 1911 года, как и шесть последующих летних сезонов, Ахматова проводит в имении своей свекрови «Слепнево» в Тверской губернии (ныне — Бежецкий район Калининской области; дом, в котором она жила, перемещен в соседнее село Градницы). Здесь ею в разные годы написано около 60 стихотворений. В программе автобиографии Ахматова намечала тему: «Слепнево — русская речь — природа — люди». В Петербурге она посещает историко-литературные курсы Н. П. Раева. Осенью 1911 года Гумилев и С. М. Городецкий организуют Цех поэтов, и Ахматова избирается его секретарем. Многие заседания Цеха в 1911—1914 гг. проводятся в ее квартире. В начале 1912 года происходит ее сближение с М. А. Кузминым, который в предисловии к ее первому сборнику «Вечер» (вышел 8 марта 1912 года) связывал обостренную чувствительность стихов Ахматовой («широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир») с предчувствием роковых канунов. Критика отметила влияние И. Анненского, которого и сама Ахматова неоднократно называла своим учителем. Сборник приобрел неожиданную для автора популярность. Наиболее подробный и глубокий разбор «Вечера» принадлежал В. А. Чудовскому.

Весной 1912 года в среде членов Цеха поэтов выделилась группа акмеистов, теоретическая программа которых, акцентировавшая острое и живое восприятие конкретной индивидуальности явлений реального мира, отчасти была предопределена поэтикой «Вечера». Акмеистами «впервые было окончательно выработано и формулировано отношение к художественному произведению, как к вполне самостоятельному живому организму, законченному и живущему по своим собственным законам независимо от содержания, вкладываемого в него творцом» (*Ю. Деген.* Общие итоги за восьмилетие.— *Тифлисский листок,* 1913, 20 декабря). В годы существования группы акмеистов (1912—

1914 гг.) Ахматова была одним из наиболее заметных ее участников.

В апреле-мае 1912 года Ахматова с Гумилевым совершила путешествие по Северной Италии. 18 сентября 1912 года у них родился сын Лев (ныне видный историк и географ, специалист по этногенезу народов Евразии). Зимой 1912—1913 гг. Ахматова участвует в ряде выступлений акмеистов (в кабаре «Бродячая собака», во Всероссийском литературном обществе и др.). 25 ноября 1913 года состоялось ее первое выступление перед многолюдной аудиторией — на Бестужевских курсах. (Впоследствии она участвует в ряде публичных вечеров петербургских поэтов: в Тенишевском училище, в зале Городской Думы, в Доме Армии и Флота и т. д.). «На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знающей себе цену» (А. В. Тыркова). В 1913—1914 гг. автор «Вечера» становится излюбленной моделью для художников (А. М. Зельманова-Чудовская, С. А. Сорин, Н. И. Альтман, О. Л. Делла-Вос-Кардовская и др.).

В 1913—1914 гг. стихи ее печатаются в «Гиперборее», «Аполлоне», «Северных записках», «Русской мысли», «Ежемесячном журнале», «Ниве» и многих других изданиях. Она регулярно участвует в заседаниях Общества поэтов, организованного Н. В. Недоброво, общение с которым окончательно сформировало ее подход к поэзии. Он явился адресатом нескольких шедевров любовной лирики Ахматовой и автором чрезвычайно содержательной статьи о ней, в которой писал о том, что Ахматову «будут призывать к расширению «узкого круга ее личных тем». Я не присоединяюсь к этому зову — <...> ее призвание не в растечении вширь, но в рассечении пластов, ибо ее орудия — <...> орудия рудокопа, врезающегося в глубь земли к жилам драгоценных руд» (*Русская мысль*, 1915, № 7). «Интенсивный», мифопоэтизирующий принцип построения творчества Ахматовой в последующем его развитии подтвердил правоту прогноза Недоброво.

В марте 1914 года вышел сборник «Четки» (9 изданий в 1914—1923 гг., не считая контрафакций), пользовав-

шийся успехом в самых разнообразных слоях читателей. Сама Ахматова «не без горькой иронии говорила о том, что своеобразная лирика «Вечера» и «Четок» пришлась по душе «влюбленным гимназисткам» (С. Рафалович). Известная неудовлетворенность своим читателем 1910-х гг. сквозит и в полушутливом ответе Ахматовой собирателю автобиографий в 1922 г.: «Моя автобиография — сплошной кошмар. Говоря откровенно, я боюсь, что публика, прочитав ее, будет разочарована. Чего доброго, перестанут меня читать, а услужливые издатели не пожелают издавать моих стихов» (*Зори*, 1924, № 9). Однако восторженный прием встретили «Четки» и у требовательных сверстников-поэтов — Марины Цветаевой (стихотворение «Анне Ахматовой»), Маяковского (свидетельство Л. Ю. Брик — *Литературный Ленинград*, 1934, 14 апреля), Б. Пастернака (*Б. Пастернак.* Воздушные пути. М., 1982, с. 448), В. Ф. Ходасевича. Более сдержанными были одобрительные оценки Блока и Брюсова, в последующие годы иногда скептически отзывавшихся о значимости творчества Ахматовой (Брюсов как-то обмолвился об «инструменте, имеющем лишь одну струну»).

Одним из важнейших обстоятельств духовной жизни Ахматовой в 1910-е годы была ее дружба с М. Л. Лозинским и О. Э. Мандельштамом. Об общении Ахматовой с последним Н. Н. Пунин вспоминал: «Это было блестящее собеседование. <...> Они могли говорить часами, может быть, даже не говорили ничего замечательного, но это была подлинно-поэтическая игра в таких напряжениях, которые мне были совершенно недоступны». В 1910-е годы завязалась дружба с Г. И. Чулковым и его женой Н. Г. Чулковой, с Ф. К. Сологубом, композитором А. С. Лурье, актрисой О. А. Глебовой-Судейкиной, с кружком молодых петербургских филологов. В эти годы создано множество стихотворных обращений к Ахматовой (часть из них собрана в антологии: — Образ Ахматовой. Л., 1925): Гумилева, Лозинского, Клюева, Мандельштама, В. К. Шилейко, В. А. Комаровского, Недоброво, В. А. Пяста, Б. А. Садовского и, наконец, Блока.

В феврале 1915 года Ахматова знакомится с Борисом Анрепом, которому посвящен ряд стихотворений «Белой

стаи» (1917 г.) и «Подорожника» (1921 г.). Тогда же в «Аполлоне» (1915, № 3) напечатана поэма «У самого моря», снискавшая похвалу, хотя и с оговорками, Блока. Мнение петроградской литературной молодежи, в среде которой Ахматова становилась все более авторитетной, выразил Г. В. Адамович: «...поэма, конечно, всем понравится. Это странное и как будто опасное свойство таланта Ахматовой. Но нельзя ошибаться — быстрое признание не всегда есть диплом на посредственность. <...> Через сто лет «У самого моря» прочтут с тем же волнением, что и теперь». В 1915—1917 гг. Ахматова несколько отстраняется от повседневной литературно-художественной жизни, почти не принимает участие в работе так называемого «второго» Цеха поэтов, почти не бывает в преемнике «Бродячей собаки» — «Привале комедиантов» и т. п. Отчасти это вызвано открывшимся у нее в начале 1915 года туберкулезом — болезнь вынудила ее провести сентябрь 1915 года в санатории Хювинккя (Финляндия) и осень 1916 года в Крыму.

Стихи, появившиеся после «Четок», показали, что дар Ахматовой не исчерпывается тематикой «несчастной любви». Стало очевидным особое композиционное мастерство Ахматовой, в связи с чем Гумилев писал ей: «...ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт». О. Э. Мандельштам указал на появление патриотических мотивов в лирическом мире Ахматовой: «Голос отречения крепнет, поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». В 1915—1917 гг. стилистика Ахматовой испытывает сильное воздействие поэзии Баратынского, что было отмечено критиками (Б. Эйхенбаум, К. Чуковский). К 1917 году среди читателей складывается мнение о специфическом «пушкинизме» Ахматовой (В. М. Жирмунский, А. Л. Слонимский, Д. П. Якубович, К. В. Мочульский и др.). Вспомнить о Пушкине заставлял разветвленный пушкинский «цитатный слой» в стихах Ахматовой. После выхода в сентябре 1917 года сборника «Белая стая» (в составлении и редактировании которого принимал участие М. Л. Лозинский), укорененность поэтики Ахматовой в классических традициях русской лирики стала общепризнанной.

Среди рубежей своей жизни Ахматова не могла не

числить 25 октября 1917 года, когда она стояла «на Литейном мосту в то время, когда его неожиданно развели среди бела дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков». Полвека спустя она писала в стихотворном наброске: «На разведенном мосту / В день, ставший праздничным ныне, / Кончилась юность моя...».

Главной особенностью лирической системы, созданной Ахматовой в 1910-е годы, было «сюжетное» сцепление отдельных стихотворений и мотивов в читательском восприятии. «Я вижу разгадку успеха и влияния Ахматовой (а в поэзии уже появились ее подголоски!),— писал Вас. В. Гиппиус в 1918 году,— и вместе объективное значение ее лирики в том, что эта лирика пришла на смену умершей или задремавшей форме романа». Но ощущение несовпадений и противоречий между отдельными стихотворениями создавало иллюзию «авторского поведения», авторского выбора и таким образом заставляло воспринимать поэтическое слово как поступок. Направленность лирического повествования на «план прошедшего времени», на «предысторию» создавало ауру автобиографического контекста вокруг ее стихотворений и целых сборников. Вокруг сборников возникала порожденная ахматовской поэтикой атмосфера «загадки» — с угадыванием адресатов любовной лирики. На основании стихов делались умозаключения (иногда печатно) об интимной жизни автора. Читательское сознание по-своему циклизовало стихи, выделив, например, «стихи к Блоку» — этот миф бытовал уже в 1910-е годы. В этой и подобных ей читательских аберрациях преломился определяющий принцип поэтической позиции Ахматовой, прояснившийся лишь в перспективе ее позднейшего творчества — «ощущение личной жизни как жизни национальной, исторической, как миссии избранничества» (Б. М. Эйхенбаум).

«Жертвенная и славная» ахматовская юность снова и снова проходит перед нами в ее стихах и прозе второй половины жизни. Становление этого метода — обращенности поэтической системы на самое себя — вызвало очередные упреки в самоперепевании. Несколько раз писал об угрозе повторения пройденного Михаил Кузмин, в частности, от-

кликаясь и на знаменитую лекцию Корнея Чуковского «Две России. Ахматова и Маяковский»: «Не напрасно Чуковский соединил эти два имени. Оба поэта, при всем их различии, стоят на распутии. Или популярность, или дальнейшее творчество. Люди не терпят движения, остановки недопустимы в искусстве. Творчество требует постояннного внутреннего обновления, публика от своих любимцев ждет штампов и перепевов. Человеческая лень влечет к механизации чувств и слов, к напряженному сознанию творческих сил нудит беспокойный дух художника. Только тогда сердце по-настоящему бьется, когда слышишь его удары. Никаких привычек, никаких приемов, никакой набитой руки! Как только зародилось подозрение в застое, снова художник должен ударить в самую глубь своего духа и вызвать новый родник,—или умолкнуть. На безмятежные проценты с капитала рассчитывать нечего. И Маяковский и Ахматова стоят на опасной точке поворота и выбора. Что будет с ними, я не знаю, я не пророк. Я слишком люблю их, чтобы не желать им творческого пути, а не спокойной и заслуженной популярности».

Ахматова вскоре после подобных обвинений занялась вопросом о самоповторениях у Пушкина, обнаружив, что повторение сходных сочетаний слов имеет глубинные истоки, коренящиеся в неустанном диалоге поэта со своим прошлым и с мировой культурой.

Любовная лирика «Седьмой книги» далеко ушла по своей манере от «нервического» импрессионизма «Четок», от той острой простоты, которую попытался имитировать когда-то в своей дружеской пародии Константин Мочульский:

Он пришел ко мне утром в среду,
А всегда мы были враги.
Не забыть мне эту беседу,
В передней его шаги.
Я спросила: «Хотите чаю?»
Помолчав, он сказал: «Хочу».
Отчего, я сама не знаю,
По ночам я криком кричу.
Уходя шепнул: «До свиданья».
Я стала еще светлей.

А над садом неслось рыданье
Отлетающих журавлей.

К этой манере не могло быть возврата, но разговор с неумолкаемым прошлым состоял в том, что Ахматова, как зеркала друг против друга, ставит свои поздние и ранние стихи. Ранние вошли уже в золотой фонд русской поэзии, совершили обход антологий и хрестоматий и поэтому кое-где застыли, окаменели. Как сказано в непоявившейся в печати концовке лирической миниатюры «Ленинград в марте 1941 г.» (кажущейся пейзажной зарисовкой, но скрывающей на своем дне отзвук «Реквиема» — «соленый привкус»):

Здесь было все милее и чудесней,
А нынче город что-то очень хмур,
И кажется мне памятником песни
Моей — вот этот под окном амур.

Иногда она пыталась как бы «продолжить» стихотворения десятых годов, описать заново ту же ситуацию. Иногда возвращалась к наметившимся перед первой мировой войной «линиям» своей поэзии, потом оставшимся без продолжения. Так, она предполагает взять эпиграфом в «Полночные стихи» строки из «Госпожи Бовари»: «И солнце не встало, и помощь ниоткуда не пришла...», оглядываясь на времена, когда в стихотворении «Исповедь» воспроизводила ситуацию из флоберовского романа: героиня на исповеди видит окружающее сквозь лиловую накидку.

Постоянная память о Пушкине в самом строе ахматовских стихов 1910-х — начала 1920-х годов была не просто стилистической чертой — она отражала неизменный интерес автора этих стихов ко всему, что было связано с «первым поэтом». Но при этом академические штудии, в которые Ахматова погрузилась в середине 1920-х подспудно связаны с осмыслением, во-первых, собственного художественного метода, во-вторых,— своего положения в истории. В 1946 году Борис Эйхенбаум писал: «Историко-литературные работы Ахматовой важны не только сами по себе (они достаточно высоко оценены нашим советским пушкиноведением), но и как материал для характеристики ее

творческого пути и ее творческой личности: уход от поэтической деятельности не был уходом от литературы и от современности вообще». Даже по сдержанной формулировке ученого можно заключить, что существовал некоторый круг читателей, который отдавал себе отчет в двуплановости ахматовской научной прозы и понимал, например, что статья о «Золотом петушке» трактует проблему поэта и власти применительно ко всем временам, в том числе и ко времени Ахматовой, Мандельштама, Булгакова, Замятина.

И еще одна черта оказалась сквозной для обоих периодов поэзии Ахматовой. Поначалу, в пору «Четок» и «Белой стаи», могло показаться, что черта эта относится к внешней стороне творчества — к истории восприятия стихов Ахматовой, «инобытию» этих стихов в читательской аудитории. «Поэма без героя» и лирика 1930-х — 1960-х годов показали, что эта черта определяет самое поэтику ахматовских произведений. Вернее сказать, внутренний строй стихов изначально предполагает, «программирует» их «поведение» в сознании читателя... Речь идет об особой «загадочности» многих сочинений Ахматовой.

В 1940-е годы Ахматова пишет об Иннокентии Федоровиче Анненском: «А тот, кого учителем считаю...». Уроки Анненского — это и та особенность его поэтики, которую он сам прямо назвал в своих наставлениях молодым поэтам, произнесенных в последние месяцы своей жизни: «Если не умеете писать так, чтобы было видно, что вы не все сказали, то лучше не пишите совсем. Оставляйте в мысли».

Послевоенная поэзия Ахматовой отвечает этому правилу: «недосказанность» становится не только ее принципом, но и одной из ее тем. Лирика Ахматовой ждет центрального события, которое снова объединило бы отдельные стихотворения, создав второй (после «романа-лирики» ранних книг), если так можно выразиться, «лирический эпос». Это событие (вернее, цепочка событий) не замедлило произойти.

В послеблокадном Ленинграде в конце 1945 года к ней в гости несколько раз приходит английский историк Исайя Берлин. Ахматова называет эти встречи «пятью беседами».

После этого (а по догадкам Ахматовой — вследствие этого) на нее обрушивается ждановское постановление. Через

десять лет в Москве снова появляется британский гость. Ахматова отказывается от встречи с ним. Такова внешняя схема происшествий, вызвавших к жизни циклы «Cinque», «Шиповник цветет» и откликнувшихся во многих других стихотворениях 1946—1966 годов. В этих шедеврах нежной и суеверной любовной лирики середины двадцатого века снова, как в давних стихах Ахматовой, любовь выступает как роковой поединок, как борьба двух достойных соперников, один из которых — европейский пришелец, гость из Будущего, а второй — русский поэт. В одном из диалогов недописанной драмы «Сон во сне» узнаются прототипы — те, кто встретились в Фонтанном доме трагической осенью 1945 года:

Он: Хочешь, я совсем не приду.
Она: Конечно, хочу, но ты все равно придешь.
Он: Я уже вспоминаю наши пять встреч в старинном полумертвом городе в проклятом доме — в твоей тюрьме в новогодние дни, когда ты из своих бедных нищих рук вернешь главное, что есть у человека — чувство Родины, а я за это погублю тебя.

Тема «главного, что есть у человека» сопутствует всем стихотворениям, составляющим этот «роман». Иногда она «недосказана», скрыта в вариантах, в отброшенных строфах, например, в оставшейся рукописью строфе стихотворения «Не дышали мы сонными маками...»:

И над этой недоброй забавою
Веял ветер пречистых полей
И всходило налитое славою
Солнце Родины грозной моей —

или — в другом стихотворении:

Как зову и не дозовусь,
А со мной только мрак и Русь.

«Места действия», в которых происходит этот надвременной и надпространственный разговор-спор, выбираются из

тех, которые уводят вглубь русской истории — «черный сад» Шереметевского дома, который древнее Санкт-Петербурга («...При шведах здесь была мыза»,— подчеркивала Ахматова), дорога под Коломной, по которой Дмитрий Донской вел войско на Куликовскую битву. Так, параллельно со стихотворением «По той дороге, где Донской...», в 1956 году возникает набросок:

Меня влекут дороги Подмосковья,
Как будто клад я закопала там,
Клад этот называется любовью
И я его тебе сейчас отдам.

И в кронах лип столетняя дремота
И Пушкин, Герцен. Что за имена!
Мы близки от такого поворота,
Где вся окрестность на века видна.

А та дорога, где Донской когда-то
Вел рать свою в немыслимый поход,
Где ветер помнит клики супостата
И клич победы на крылах несет.

И в стихотворении «Пусть кто-то еще отдыхает на юге...» тоже возникали незавершенные строфы, отсылающие к далям русской культуры, к первому услышанному Ахматовой произведению русской поэзии — поэме «Мороз, Красный нос»:

Мороз, словно викинг проходит, лютуя,
Где тронет, там крови поток,
Как ссадины, жгучи его поцелуи...

Мне чем-то знакомые в чаще ютятся
Обломки гранитные скал.
Покинув их, медные всадники мчатся
По глади озерных зеркал...

Стихи цикла «Шиповник цветет» и примыкающие к нему пропитаны памятью о первоэлементах европейского литературного космоса — о волшбе Ивановой ночи, о мифоло-

гии классической древности (когда название цветка подсказывает «истинное имя» героя — Нарцисс, и, таким образом, тайное имя героини — Эхо, обреченной на тень голоса и мученическую смерть), к вечным сюжетам Энея и Дидоны, Антония и Клеопатры. Может быть, последний имеется в виду в наброске 1956 года:

Меня и этот голос не обманет,
Пора, пора вам, гость случайный, в путь,
Но, говорят, убийцу часто манит
На труп еще хоть издали взглянуть.
Но говорят... Совсем не в этом дело,
Настало время отходить ко сну,
Как стрекоза крыловская пропела
Я лето, зиму, осень и весну.
И, кажется, исполнена программа,
Есть в этом мире пожалеть о чем,
И вот идет шекспировская драма
И страшен призрак в зеркале чужом...

«Чужие зеркала» встречают читателя, входящего в мир поздней Ахматовой. Многое может быть расшифровано более или менее правдоподобно и — все-таки — не забудем слова Автора:

Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих...

Об одном из главных принципов своей поздней поэтики Ахматова говорит в заметке «Из дневника» («Марина ушла в заумь...»), которая была написана в декабре 1959 года. Этот месяц, по словам Ахматовой, был для нее «стихотворным». В один день с этой заметкой появилась строфа «Поэмы без героя» о Блоке — «Это он в переполненном зале...», немного ранее были написаны стихи о своем творчестве — «Я помню все в одно и то же время...» и «Наследница». И весь декабрь шла работа над задуманным много лет тому назад стихотворением «Мелхола». Со всеми этими стихотворениями заметка связана многими ассоциативными нитями. Мысль о том, что каждое слово в строке должно

«стоять на своем месте, как будто оно там уже 1000 лет стоит», соотносится со словами, которые произносит само «творчество» в одноименном стихотворении — «я помню все в одно и то же время». Точно так же эта мысль восходит к пронизывающему всю поэтическую биографию Ахматовой острому переживанию образа главного героя стихотворения «Мелхола» — пастуха, царя и поэта, который печалью своей, как сказала Ахматова в стихотворении 1916 года, «по-царски одарил тысячелетья» («Майский снег»).

В этой заметке упоминается «Поэма воздуха» Марины Цветаевой, написанная в 1927 году (опубликована в 1931 году). В 1941 году, за ночь, разделявшую два дня их единственной в жизни встречи, Цветаева переписала эту поэму для Ахматовой. В своих позднейших записях Ахматова подчеркивает, что никакой внутренней связи с поэмами Цветаевой у «Поэмы без героя» нет (и что по духу она близка к «Огненному столпу» Гумилева и поэзии и прозе Мандельштама). Вопрос о некотором влиянии «Поэмы воздуха» на самое начало «Поэмы без героя» все же остается открытым. Напомним, что «Поэма без героя» в большей своей части записана в конце 1940 года, но именно начальные стихи первой главы появились только в Ташкенте в 1942 году.

Теорию «знакомства слов», о которой Ахматова говорит в этой заметке, развивал Мандельштам в разговорах с Ахматовой в начале 1930-х годов. В набросках к воспоминаниям о Мандельштаме Ахматова записала: «Надо знакомить слова» (выражение О.Э., то есть сталкивать те слова, которые никогда раньше не стояли рядом)». Сходные формулировки встречаются в высказываниях и других поэтов 1920-х годов. В романе Константина Вагинова «Козлиная песнь» об этом говорит «неизвестный поэт» (видимо, маска самого автора): «Поэзия — это особое занятие. Страшное зрелище и опасное, возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью, все над сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами». Та концепция поэта, которую противопоставляет Ахматова этим форму-

лировкам, опирается на авторитет Данте,— поэт пишет под диктовку, он переписчик, а не «фантазер». Запоминающиеся страницы посвящены этому представлению о поэте в мандельштамовском «Разговоре о Данте».

Ощущение читателя, который говорит о стихах поэта — «это про меня», приводит к своего рода «соавторству». Ахматова неоднократно подчеркивала это, говоря о «Поэме без героя»: «Мне казалось, что мы пишем ее все вместе».

Р. Д. Тименчик

В настоящей книге сборник «Anno Domini» печатается в основном по изданию «второму дополненному» (Берлин, 1923) с учетом первых двух стихотворений, имевшихся в некоторых экземплярах тиража. Впоследствии ряд стихотворений сборника подвергся авторской редактуре (было снято посвящение В. К. Шилейко, заменен стих в стихотворении «Встреча» — «И странно царь глядит вокруг», дописаны финалы к «Сказке о черном кольце» и к эпическому отрывку «Смеркается...» и т. д.).

Состав последующих стихотворных книг отчасти перераспределен по сравнению с проектами, намечавшимися самой Ахматовой,— в связи с задачами настоящего издания.

\+ \+ +

Все души милых на высоких звездах.
Как хорошо, что некого терять
И можно плакать. Царскосельский воздух
Был создан, чтобы песни повторять.

У берега серебряная ива
Касается сентябрьских ярких вод.
Из прошлого восставши, молчаливо
Ко мне навстречу тень моя идет.

Здесь столько лир повешено на ветки,
Но и моей как будто место есть.
А этот дождик, солнечный и редкий,
Мне утешенье и благая весть.

\+ \+ +

Таким видится мне город в первые годы после Революции: Марсово Поле — огромный, уже разоренный огород. Над ним тучи ворон (осень 1921 г.). Остановившиеся трамваи, все люди что-то несут, и у всех одно и то же выражение лица. Я живу в страшных недрах запущенных двух может быть недавно великолепнейших дворцов города — в Фонтанном Доме графов Шереметевых

На листке, хранящемся в архиве Ахматовой в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, нет конца этой заметки. Второй дворец — Мраморный, где Ахматова жила в середине 1920-х годов в квартире В. К. Шилейко, сотрудника Академии материальной культуры, размещавшейся в этом здании (ул. Халтурина, 5).

Лариса Рейснер. Из письма к А. А. Ахматовой

Дорогая и глубокоуважаемая Анна Андреевна.

Газеты, проехав девять тысяч верст, привезли нам известие о смерти Блока. И почему-то только Вам хочется выразить, как это горько и нелепо. Только Вам — точно рядом с Вами упала колонна, что ли, такая же тонкая, белая и лепная, как Вы. Теперь, когда его уже нет, Вашего равного, единственного духовного брата,— еще виднее, что Вы есть, что Вы дышите, мучаетесь, ходите, такая прекрасная, через двор с ямами, выдаете какие-то книги каким-то людям — книги, гораздо хуже Ваших собственных.

Милый Вы, нежнейший поэт, пишете ли Вы стихи? Нет ничего выше этого дела, за одну Вашу строчку людям отпустится целый злой, пропащий год. Ваше искусство — смысл и оправдание всего — черное становится белым, вода может брызнуть из камня, если жива поэзия. Вы радость содержания и светлая душа всех, кто жил неправильно, захлебывался грязью, умирал от горя. Только не замолчите — не умрите заживо. <...>

Письмо Ларисы Михайловны Рейснер было написано в Кабуле, где она находилась вместе со своим мужем Ф. Ф. Раскольниковым, осуществляя дипломатическую миссию. П. Н. Лукницкий записал в дневнике, как Ахматова восприняла известие о смерти Рейснер в 1926 году: «Вот уж никак я не могла думать, что переживу Ларису. <...> Ей так хотелось жить, веселая, здоровая, красивая...». Сохранилось одно письмо Ахматовой к Рейснер октября 1920 года: «Дорогая Лариса Михайловна, пожалуйста, опустите в Риге это письмо. Оно написано моей племяннице, о которой семья давно не имеет вестей. Отправив это письмо, Вы окажете мне большое одолжение. Желаю Вам счастливого пути, возвращайтесь к нам здоровой и радостной. Вольдемар <Шилейко> Вам кланяется. Ваша Ахматова». Узнав о смерти Рейснер, Ахматова рассказала Лукницкому об одной из первых встреч: «Возьмите меня за руку — мне страшно» — сказала 16-летняя Л. Рейснер на вечере (в Тенишевском?)». На этом «Вечере поэтесс» в пользу детей беженцев 31 марта 1916 года в концертном зале Тенишевского училища Ахматову уговорили выступить, хотя она и не значилась в программе. Она читала стихотворение «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...»

Михаил Зенкевич. У камина с Анной Ахматовой

Анна Ахматова служит библиотекаршей в Агрономическом институте, и ее собираются уволить за сокращением штата! Для меня это не менее неожиданно, как и то, что она, оставив Гумилева, стала женой горбоносого ассириолога Шилейко.

В библиотеке института тоже холодно, но не так, как в Публичной. В небольшой комнате толпится кучка мужчин и женщин, одетых по-зимнему, — очевидно, библиотекари.

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь Анну Андреевну Ахматову?

При этих словах из хмурой кучки библиотекарей отделяется высокая женщина и с улыбкой протягивает мне руку:— Ахматова!

— Здравствуйте. Мне Лозинский сообщил вчера о вашем приезде. Очень рада вас видеть. Идемте ко мне.

Тут же через коридор ее комната с двумя высокими окнами, золоченым трюмо в простенке и большим камином. В комнате холодно, нет ни печи, ни даже буржуйки.

— Затопите, пожалуйста, камин и подайте нам какао,— отдает Ахматова распоряжение какой-то немолодой интеллигентной женщине, вероятно, ухаживающей за ней из любви к ее стихам.

Мы оба в зимних пальто усаживаемся в кресла, от дыхания идет пар, но камин вспыхивает и празднично трещит сосновыми дровами, и в руках у нас дымятся поданные на подносе фарфоровые чашечки.

Да, она осталась все той же светской хозяйкой, как и в особняке в Царском!

— Это какао мне прислали из-за границы. Получили посылки я и Сологуб, и от кого-то совсем незнакомого. Ну, рассказывайте о себе.

По лицу Ахматовой, освещенному при дневном свете золотистым пламенем камина, проходят тени.

— Последние месяцы я жила среди смертей. Погиб Коля, умер мой брат, и наконец Блок! Не знаю, как я смогла все это пережить!..

— Говорят, вы хотите ехать заграницу?

— Зачем? Что я там буду делать? Они там все сошли с ума и ничего не хотят понимать.

Она рассказывает о последнем вечере Блока в Александринском театре, вспоминает о веселых и шумных собраниях Цеха поэтов с дешевым красным вином и молодыми стихами, о Гумилеве...

— Для меня это было так неожиданно. Вы ведь знаете, что он всегда был далек от политики. Но он продолжал поддерживать связи со старыми товарищами по полку, и они могли втянуть его в какую-нибудь историю. А что могут делать бывшие гвардейские офицеры, как не составлять заговоры? Но довольно об этом. Давайте читать стихи.

— С условием, что вы читаете первая.

— Хорошо, я прочту стихотворение о смерти Блока. Лурье написал к нему музыку, и оно скоро будет исполняться на вечере памяти Блока.

И опять, как когда-то на собраниях Цеха — «Звенящий голос, горький хмель души расковывает недра» — и четко вырезается на белой стене строгий, дантовский женский профиль, с неизменной челкой на лбу.

При чтении Ахматовой передо мной проносятся обрывки воспоминаний. Вот она в первый раз, в отсутствии Гумилева, уехавшего в Абиссинию, читает в редакции «Аполлона» свои стихи, и от волнения слегка дрожит кончик ее лакированной туфельки, а Вячеслав Иванов ее за что-то отечески журит. Вот я везу ее «Вечер» вместе со своей «Дикой порфирой» на склад к Вольфу, и на собрании Цеха поэтов мы сидим с ней в нелепых лавровых венках, сплетенных Городецким...

А Смоленская сегодня именинница...
Принесли во гробе серебряном
Александра, лебедя чистого...

И мне мерещится зеленое Смоленское кладбище, и я вижу, как поднимают упавшую после похорон в рыданиях на могилу Блока Ахматову.

— Скажите, Анна Андреевна, ведь это выдумка о вашем будто бы романе с Блоком?

— Кто-то сочинил эту легенду. Я ведь почти не виделась с Блоком и только недавно узнала, что он любил мои стихи...

— Простите, Анна Андреевна, нескромный вопрос. Но я уже слышал о начале вашего романа с Николаем Степановичем и даже то , как он раз, будучи студентом Сорбонны, пытался отравиться из-за любви к вам, значит,— мне можно знать и конец. Кто первый из вас решил разойтись — вы или Николай?

— Нет, это сделала я. Когда он вернулся во время войны, я почувствовала, что мы чужие, и объявила ему, что нам надо разойтись. Он сказал только — ты свободна, делай, что хочешь,— но при этом страшно побледнел, так, что даже побелели губы. И мы разошлись...

Пламя в камине замирает, чашечки с какао стынут, стихи прочитаны, в окнах синеют сумерки — пора!

Я прощаюсь с провожающей меня Ахматовой и целую у наружной двери ее узкую руку.

Как она сильно выросла, вместо прежнего женского тщеславия у ней появилась какая-то мудрость и спокойствие. Да, как ни стараются ее опошлить поклонницы и подражательницы и женолюбивые критики, она все же остается Анной Ахматовой.

Мимо Инженерного замка я вышел на площадь Лассаля, бывшую Михайловскую, но прежде чем сесть в трамвай, мне вдруг захотелось посмотреть «Бродячую Собаку». В конце второго двора нашел я знакомый заколоченный вход в подвал. Как теперь было бы жутко спуститься туда, в сырость и темноту, и постоять там одному!..

У трамвая в очереди я вдруг почувствовал некоторую неловкость. Так бывает, когда кто-нибудь особенно пристально смотрит сзади. Я обернулся: в конце очереди какой-то человек в оленьей дохе точно лорнировал меня своим немигающим стеклянным взглядом, я был как бы в фокусе расхождения его косящих глаз. Как он похож на Гумилева! То же неправильное, холодное, деланно-высокомерное лицо и серые, слегка косые глаза. Публика задвигалась, подошел вагон. Я хотел поближе при свете рассмотреть похожего на Гумилева человека, но его в вагоне не оказалось.

В этой главе из автобиографического романа Михаила Зенкевича «Мужицкий сфинкс», написанного в середине 1920-х годов, автор говорит о своем приезде в Петроград из Саратова, где он провел годы гражданской войны. В библиотеке Агрономического института Ахматова служила до февраля 1922 года. О смерти брата Андрея, покончившего с собой в Афинах, Ахматовой сообщил Гумилев в июле 1921 года — он узнал об этом от матери Ахматовой Инны Эразмовны, которую навестил в Севастополе во время своей последней поездки.

Вечер Блока состоялся 25 апреля 1921 года в Большом Драматическом театре (у М. Зенкевича — описка). Стихотворение Осипа Мандельштама, обращенное к Ахматовой, цитируется неточно.

Первое публичное чтение Ахматовой в Обществе ревнителей Художественного Слова состоялось 22 апреля 1911 года, когда Гумилев уже вернулся из своего второго абиссинского путешествия. О попытке самоубийства в декабре 1907 года в Булонском лесу Гумилев рассказывал и А. Н. Толстому — этот эпизод изложен в воспоминаниях последнего (*Урал*, 1988, №2).

Один из экземпляров машинописи романа М. А. Зенкевича находится в собрании М. С. Лесмана, хранительница которого Н. Г. Князева любезно предоставила эту главу для настоящего издания.

Осип Мандельштам. Из «Письма о русской поэзии»

Наконец, Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа девятнадцатого века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с «Анной Карениной», Тургенева с «Дворянским гнездом», всего Достоевского и отчасти даже Лескова.

Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу.

Вся эта форма, вышедшая из асимметричного параллелизма народной песни и высокого лирического прозаизма Анненского, приспособлена для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой.

Советский юг (Ростов-на-Дону), 1922, 21 янв.

Корней Чуковский. Из дневника

1922 год

17 марта. Мороз. Книжных магазинов открывается все больше и больше, а покупателей нет. Вчера открылся новый — на углу Семеновского и Литейного, где была аптека.

Если просидеть час в книжном магазине — непременно раза два или три увидишь покупателей, которые входят и спрашивают:

— Есть Блок?

— Нет.

— И «Двенадцати» нет?

— И «Двенадцати» нет.

Пауза.

— Ну так дайте Анну Ахматову.

Литературное наследство, М., 1981, т. 92, кн. 2, с. 258

НОВЫЕ СТИХИ

В те баснословные года...
Тютчев

ПЕТРОГРАД, 1919

И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.

1920 <?>

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Видел я тот венец златокованый...
Не завидуй такому венцу!
Оттого, что и сам он ворованный,
И тебе он совсем не к лицу.
Туго согнутой веткой терновою
Мой венец на тебе заблестит.
Ничего, что росою багровою
Он изнеженный лоб освежит.

1922

БЕЖЕЦК

Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там вьюги сухие взлетают с заречных полей,
И люди, как ангелы, Божьему Празднику рады,
Прибрали светлицу, зажгли у киота лампады,
И Книга Благая лежит на дубовом столе.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь;
И город был полон веселым Рождественским звоном.

26 дек. 1921 г.

\+ \+ \+

Я с тобой, мой ангел, не лукавил,
Как же вышло, что тебя оставил
За себя заложницей в неволе
Всей земной непоправимой боли?

Под мостами полыньи дымятся,
Над кострами искры золотятся,
Грузный ветер окаянно воет,
И шальная пуля за Невою
Ищет сердце бедное твое.
И одна в дому оледенелом,
Белая лежишь в сиянье белом,
Славя имя горькое мое.

\+ + +

В тот давний год, когда зажглась любовь,
Как крест престольный, в сердце обреченном,
Ты кроткою голубкой не прильнула
К моей груди, но коршуном когтила.
Изменой первою, вином проклятья
Ты напоила друга своего.
Но час настал в зеленые глаза
Тебе глядеться, у жестоких губ
Молить напрасно сладостного дара
И клятв таких, каких ты не слыхала,
Каких еще никто не произнес.
Так отравивший воду родника
Для вслед за ним идущего в пустыне
Сам заблудился и, возжаждав сильно,
Источника во мраке не узнал.
Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной,
Но гибелью ли жажду утолить?

\+ + +

Неправда, у тебя соперниц нет.
Ты для меня не женщина земная,
А солнца зимнего утешный свет
И песня дикая родного края.
Когда умрешь, не стану я грустить,
Не крикну, обезумевши: Воскресни!
Но вдруг пойму, что невозможно жить
Без солнца телу и душе без песни.

\+ + +

Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

\+ + +

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

\+ + +

Что ты бродишь неприкаянный,
Что глядишь ты не дыша?
Верно, понял: крепко спаяна
На двоих одна душа.

Будешь, будешь мной утешенным,
Как не снилось никому,
А обидишь словом бешеным —
Станет больно самому.

\+ + +

Веет ветер лебединый,
Небо синее в крови.
Наступают годовщины
Первых дней твоей любви.

Ты мои разрушил чары,
Годы плыли, как вода.
Отчего же ты не старый,
А такой, как был тогда?

Даже звонче голос нежный,
Только времени крыло
Осенило славой снежной
Безмятежное чело.

\+ + +

Ангел, три года хранивший меня,
Вознесся в лучах и огне,
Но жду терпеливо сладчайшего дня,
Когда он вернется ко мне.

Как щеки запали, бескровны уста,
Лица не узнать моего;
Ведь я не прекрасная больше, не та,
Что песней смутила его.

Давно на земле ничего не боюсь,
Прощальные помня слова.
Я в ноги ему, как войдет, поклонюсь,
А прежде кивала едва.

\+ + +

Шепчет: «Я не пожалею
Даже то, что так люблю —
Или будь совсем моею,
Или я тебя убью».
Надо мной жужжит, как овод,
Непрестанно столько дней
Этот самый скучный довод
Черной ревности твоей.
Горе душит — не задушит,
Вольный ветер слезы сушит,
А веселье, чуть погладит,
Сразу с бедным сердцем сладит.

1922

\+ + +

Слух чудовищный бродит по городу,
Забирается в домы, как тать.
Уж не сказку ль про Синюю Бороду
Перед тем, как засну, почитать?

Как седьмая всходила на лестницу,
Как сестру молодую звала,
Милых братьев иль страшную вестницу,
Затаивши дыханье, ждала...

Пыль взметается тучею снежною,
Скачут братья на замковый двор,
И над шеей безвинной и нежною
Не подымется скользкий топор.

Этой сказочкой нынче утешена,
Я, наверно, спокойно усну.
Что же сердце колотится бешено,
Что же вовсе не клонит ко сну?

\+ + +

Заболеть бы как следует, в жгучем бреду
Повстречаться со всеми опять,
В полном ветра и солнца приморском саду
По широким аллеям гулять.

Даже мертвые нынче согласны прийти,
И изгнанники в доме моем.
Ты ребенка за ручку ко мне приведи,
Так давно я скучаю о нем.

Буду с милыми есть голубой виноград,
Буду пить ледяное вино
И глядеть, как струится седой водопад
На кремнистое влажное дно.

\+ + +

За озером луна остановилась
И кажется отворенным окном
В притихший, ярко освещенный дом,
Где что-то нехорошее случилось.

Хозяина ли мертвым привезли,
Хозяйка ли с любовником сбежала,
Иль маленькая девочка пропала
И башмачок у заводи нашли...

С земли не видно. Страшную беду
Почувствовав, мы сразу замолчали.
Заупокойно филины кричали,
И душный ветер буйствовал в саду.

\+ + +

В. К. Шилейко

Как мог ты, сильный и свободный,
Забыть у ласковых колен,
Что грех карают первородный
Уничтожение и тлен.

Зачем ты дал ей на забаву
Всю тайну чудотворных дней,—
Она твою развеет славу
Рукою хищною своей.

Стыдись, и творческой печали
Не у земной жены моли.
Таких в монастыри ссылали
И на кострах высоких жгли.

ИЗ КНИГИ БЫТИЯ

И встретил Иаков в долине Рахиль,
Он ей поклонился, как странник бездомный.
Стада подымали горячую пыль,
Источник был камнем завален огромным.
Он камень своею рукой отвалил
И чистой водою овец напоил.

Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана,
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет — словно семь ослепительных дней.

Но много премудр сребролюбец Лаван,
И жалость ему незнакома.
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
И Лию незрячую твердой рукой
Приводит к Иакову в брачный покой.

Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклинает, и Бога хулит,
И Ангелу Смерти явиться велит.

И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины,
Веселые взоры Рахилиных глаз
И голос ее голубиный:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл?

1921

ПРИЧИТАНИЕ

В.А. Щеголевой

Господеви поклонитеся
Во Святем Дворе Его.
Спит юродивый на паперти,
На него глядит звезда.
И, крылом задетый ангельским,
Колокол заговорил
Не набатным, грозным голосом,
А прощаясь навсегда.
И выходят из обители,
Ризы древние отдав,

2—584

Чудотворцы и святители,
Опираясь на клюки.
Серафим — в леса Саровские
Стадо сельское пасти,
Анна — в Кашин, уж не княжити,
Лен колючий теребить.
Провожает Богородица,
Сына кутает в платок,
Старой нищенкой оброненный
У Господнего крыльца.

1922

РАЗЛУКА

Вот и берег северного моря,
Вот граница наших бед и слав,—
Не пойму, от счастья или горя
Плачешь ты, к моим ногам припав.
Мне не надо больше обреченных —
Пленников, заложников, рабов,
Только с милым мне и непреклонным
Буду я делить и хлеб и кров.

1922

ДВА ОТРЫВКА ИЗ СКАЗКИ «О ЧЕРНОМ КОЛЬЦЕ»

1

Мне от бабушки-татарки
Были редкостью подарки;
И зачем я крещена,
Горько гневалась она.

А пред смертью подобрела
И впервые пожалела,
И вздохнула: «Ах, года!
Вот и внучка молода».
И, простивши нрав мой вздорный,
Завещала перстень черный.
Так сказала: «Он по ней,
С ним ей будет веселей».

2

Я друзьям моим сказала:
«Горя много, счастья мало»,—
И ушла, закрыв лицо;
Потеряла я кольцо.
И друзья мои сказали:
«Мы кольцо везде искали,
Возле моря на песке
И меж сосен на лужке».
И, догнав меня в аллее,
Тот, кто был других смелее,
Уговаривал меня
Подождать до склона дня.
Я совету удивилась
И на друга рассердилась,
Что глаза его нежны:
«И на что вы мне нужны?
Только можете смеяться,
Друг пред другом похваляться
Да цветы сюда носить».
Всем велела уходить.

ANNO DOMINI MCMXXI

Nec sine te, nec tecum
vivere possum.

\+ \+ \+

Наталии Рыковой

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес,—

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

1921

\+ \+ \+

Путник милый, ты далече,
Но с тобою говорю.
В небесах зажглися свечи
Провожающих зарю.

Путник мой, скорей направо
Обрати свой светлый взор:
Здесь живет дракон лукавый,
Мой властитель с давних пор.

А в пещере у дракона
Нет пощады, нет закона.
И висит на стенке плеть,
Чтобы песен мне не петь.

И дракон крылатый мучит,
Он меня смиренью учит,
Чтоб забыла дерзкий смех,
Чтобы стала лучше всех.

Путник милый, в город дальний
Унеси мои слова,
Чтобы сделался печальней
Тот, кем я еще жива.

1921

\+ \+ \+

Сослужу тебе верную службу,—
Ты не бойся, что горько люблю!
Я за нашу веселую дружбу
Всех святителей нынче молю.

За тебя отдала первородство
И взамен ничего не прошу,
Оттого и лохмотья сиротства
Я как брачные ризы ношу.

1921

\+ \+ \+

Нам встречи нет. Мы в разных станах,
Туда ль зовешь меня, наглец,
Где брат поник в кровавых ранах,
Принявши ангельский венец?

И ни молящие улыбки,
Ни клятвы дикие твои,
Ни призрак млеющий и зыбкий
Моей счастливейшей любви
Не обольстят...

1921

\+ \+ \+

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий —
Что там, крысы, призрак или вор?

В душной кухне плещется водою,
Половицам шатким счет ведет,
С глянцевитой черной бородою
За окном чердачным промелькнет —

И притихнет. Как он зол и ловок,
Спички спрятал и свечу задул.
Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!
Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прохладной простыни.

1921

\+ + +

О, жизнь без завтрашнего дня!
Ловлю измену в каждом слове,
И убывающей любови
Звезда восходит для меня.

Так незаметно отлетать,
Почти не узнавать при встрече.
Но снова ночь. И снова плечи
В истоме влажной целовать.

Тебе я милой не была,
Ты мне постыл. А пытка длилась,
И как преступница томилась
Любовь, исполненная зла.

То словно брат. Молчишь, сердит.
Но если встретимся глазами —
Тебе клянусь я небесами,
В огне расплавится гранит.

1921

\+ + +

Кое-как удалось разлучиться
И постылый огонь потушить.
Враг мой вечный, пора научиться
Вам кого-нибудь вправду любить.

Я-то вольная. Все мне забава,—
Ночью Муза слетит утешать,
А наутро притащится слава
Погремушкой над ухом трещать.

Обо мне и молиться не стоит
И, уйдя, оглянуться назад...
Черный ветер меня успокоит,
Веселит золотой листопад.

Как подарок, приму я разлуку
И забвение, как благодать.
Но, скажи мне, на крестную муку
Ты другую посмеешь послать?

1921

\+ + +

А, ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня,
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе страшный подарок —
Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

1921

\+ + +

Пусть голоса органа снова грянут,
Как первая весенняя гроза:
Из-за плеча твоей невесты глянут
Мои полузакрытые глаза.

Семь дней любви, семь грозных лет разлуки,
Война, мятеж, опустошенный дом,
В крови невинной маленькие руки,
Седая прядь над розовым виском.

Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный,
Верну тебе твой сладостный обет,
Но берегись твоей подруге страстной
Поведать мой неповторимый бред,—

Затем, что он пронижет жгучим ядом
Ваш благостный, ваш радостный союз...
А я иду владеть чудесным садом,
Где шелест трав и восклицанья муз.

1921

\+ \+ \+

Чугунная ограда,
Сосновая кровать.
Как сладко, что не надо
Мне больше ревновать.

Постель мне стелют эту
С рыданьем и мольбой;
Теперь гуляй по свету
Где хочешь, Бог с тобой!

Теперь твой слух не ранит
Неистовая речь,
Теперь никто не станет
Свечу до утра жечь.

Добились мы покою
И непорочных дней...
Ты плачешь—я не стою
Одной слезы твоей.

1921

\+ \+ \+

А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травою стелется,
И струится пенье панихидное,
Не печальное нынче, а светлое.
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчиков и девочек
Поглядеть на могилы отцовские,
А кладбище — роща соловьиная,
От сиянья солнечного замерло.
Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее,—
Александра, лебедя чистого.

1921

\+ \+ \+

О. А. Г. С.

Пророчишь, горькая, и руки уронила,
Прилипла прядь волос к бескровному челу,
И улыбаешься — о, не одну пчелу
Румяная улыбка соблазнила
И бабочку смутила не одну.

Как лунные глаза светлы, и напряженно
Далеко видящий остановился взор.
То мертвому ли сладостный укор,
Или живым прощаешь благосклонно
Твое изнеможенье и позор?

1921

\+ + +

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
Предсказаны словом моим.
Как вороны кружатся, чуя
Горячую, свежую кровь,
Так дикие песни, ликуя,
Моя насылала любовь.

С тобою мне сладко и знойно,
Ты близок, как сердце в груди.
Дай руку мне, слушай спокойно.
Тебя заклинаю: уйди.
И пусть не узнаю я, где ты,
О Муза, его не зови,
Да будет живым, невоспетым
Моей не узнавший любви.

1921

\+ + +

Долгим взглядом твоим истомленная,
И сама научилась томить.
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить?

Быть твоею сестрою отрадною
Мне завещано древней судьбой,
А я стала лукавой и жадною
И сладчайшей твоею рабой.

Но когда замираю, смиренная,
На груди твоей снега белей,
Как ликует твое умудренное
Сердце — солнце отчизны моей!

1921

ГОЛОС ПАМЯТИ

Мир — лишь луч от лика друга,
Все иное — тень его.
Н. Гумилев

\+ + +

Широко распахнуты ворота,
Липы нищенски обнажены,
И темна сухая позолота
Нерушимой вогнутой стены.

Гулом полны алтари и склепы,
И за Днепр широкий звон летит.
Так тяжелый колокол Мазепы
Над Софийской площадью гудит.

Все грозней бушует, непреклонный,
Словно здесь еретиков казнят,
А в лесах заречных, примиренный,
Веселит пушистых лисенят.

1921

\+ + +

Почернел, искривился бревенчатый мост,
И стоят лопухи в человеческий рост,
И крапивы дремучей поют леса,
Что по ним не пройдет, не блеснет коса.
Вечерами над озером слышен вздох,
И по стенам расползся корявый мох.

Я встречала там
Двадцать первый год.
Сладок был устам
Черный душный мед.

Сучья рвали мне
Платья белый шелк,
На кривой сосне
Соловей не молк.

На условный крик
Выйдет из норы,
Словно леший дик,
А нежней сестры.

Нá гору бегом,
Через речку вплавь,
Да зато потом
Не скажу: оставь.

\+ \+ \+

Тот август, как желтое пламя,
Пробившееся сквозь дым,
Тот август поднялся над нами,
Как огненный серафим.

И в город печали и гнева
Из тихой Корельской земли
Мы двое — воин и дева —
Студеным утром вошли.

Что сталось с нашей столицей,
Кто солнце на землю низвел?
Казался летящей птицей
На штандарте черный орел.

На дикий лагерь похожим
Стал город пышных смотров,

Слепило глаза прохожим
Сверканье пик и штыков.

И серые пушки гремели
На Троицком гулком мосту,
А липы еще зеленели
В таинственном Летнем саду.

И брат мне сказал: «Настали
Для меня великие дни.
Теперь ты наши печали
И радость одна храни».

Как будто ключи оставил
Хозяйке усадьбы своей,
А ветер восточный славил
Ковыли приволжских степей.

1915

ВСТРЕЧА

Зажженных рано фонарей
Шары висячие скрежещут,
Все праздничнее, все светлей
Снежинки, пролетая, блещут.

И, ускоряя ровный бег,
Как бы в предчувствии погони,
Сквозь мягко падающий снег
Под синей сеткой мчатся кони.

И раззолоченный гайдук
Стоит недвижно за санями,
И странно ты глядишь вокруг
Пустыми светлыми глазами.

1919

+ + +

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.

Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Далеко в лесу огромном,
Возле синих рек,
Жил с детьми в избушке темной
Бедный дровосек.

Младший сын был ростом с пальчик,—
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

\+ + +

Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжет.

Упрямая, жду, что случится,
Как в песне случится со мной,—
Уверенно в дверь постучится
И, прежний, веселый, дневной,

Войдет он и скажет: «Довольно,
Ты видишь, я тоже простил».
Не будет ни страшно, ни больно...
Ни роз, ни архангельских сил.

Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце мое берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.

1921

\+ + +

На пороге белом рая,
Оглянувшись, крикнул: «Жду!»
Завещал мне, умирая,
Благостность и нищету.

И когда прозрачно небо,
Видит, крыльями звеня,
Как делюсь я коркой хлеба
С тем, кто просит у меня.

А когда, как после битвы,
Облака плывут в крови,
Слышит он мои молитвы
И слова моей любви.

1921

\+ \+ \+

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит...
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.

И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой...
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало.

1921

\+ \+ \+

Соблазна не было. Соблазн в тиши живет,
Он постника томит, святителя гнетет,

И в полночь майскую над молодой черницей
Кричит истомно раненой орлицей.

А сим распутникам, сим грешницам любезным
Неведомо объятье рук железных.

\+ \+ \+

Буду черные грядки холить,
Ключевой водой поливать;
Полевые цветы на воле,
Их не надо трогать и рвать.

Пусть их больше, чем звезд зажженных
В сентябрьских небесах —
Для детей, для бродяг, для влюбленных
Вырастают цветы на полях.

А мои — для святой Софии
В тот единственный светлый день,
Когда возгласы литургии
Возлетят под дивную сень.

И, как волны приносят на сушу
То, что сами на смерть обрекли,
Принесу покаянную душу
И цветы из Русской земли.

\+ \+ \+

Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом,
Ни даже предчувствием тайным моим.
Зачем же в ночи перед темным порогом
Ты медлишь, как будто счастьем томим?

Не выйду, не крикну: «О, будь единым,
До смертного часа будь со мной!»
Я только голосом лебединым
Говорю с неправедною луной.

1915

\+ \+ \+

Смеркается, и в небе темно-синем,
Где так недавно храм Ерусалимский
Таинственным сиял великолепьем,
Лишь две звезды над путаницей веток,
И снег летит откуда-то не сверху,
А словно подымается с земли,
Ленивый, ласковый и осторожный.
Мне странною в тот день была прогулка.

Когда я вышла, ослепил меня
Прозрачный отблеск на вещах и лицах,
Как будто всюду лепестки лежали
Тех желто-розовых некрупных роз,
Название которых я забыла.
Безветренный, сухой, морозный воздух
Так каждый звук лелеял и хранил,
Что мнилось мне: молчанья не бывает.
И на мосту, сквозь ржавые перила
Просовывая руки в рукавичках,
Кормили дети пестрых жадных уток,
Что кувыркались в проруби чернильной.

\+ + +

Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж — палач, а дом его — тюрьма.

Но видишь ли! Ведь я пришла сама...
Декабрь рождался, ветры выли в поле,
И было так светло в твоей неволе,
А за окошком сторожила тьма.

Так птица о прозрачное стекло
Всем телом бьется в зимнее ненастье,
И кровь пятнает белое крыло.

Теперь во мне спокойствие и счастье.
Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил
За то, что в дом свой странницу пустил.

1921

ПРОМЕЖУТОК

Михаил Кузмин. Из статьи «Парнасские заросли»

Вторым событием если не чисто поэтическим, то во всяком случае из области поэтических увлечений—является необычайная популярность Ахматовой. Конечно, прекрасная и печальная поэтесса давно пользовалась заслуженной известностью, но теперь сделалась любимицею публики. Может быть, случайно это совпало со смертью Блока. Дело идет не о какой-нибудь замене или измене, но очевидно сердце, даже коллективно, боится пустоты. Конечно, ни вины, ни заслуги самой Ахматовой в этом обожании нет, но есть опасность, или, вернее, может оказаться таковая. Публика ленива и требует от своих любимцев повторений и перепевов, которые всегда знаменуют застой, а следовательно и смерть творчества. В последней книжке «Anno Domini» (я не буду говорить о «Подорожнике», целиком вошедшем в «Anno Domini») Ахматова осталась на высоте предыдущих книг, покуда не сдвигаясь в сторону. И хотя некоторые стихотворения несколько предвещают новый путь, встречаются, к сожалению, и повторения излюбленных тем и приемов, не знаю, бессознательные ли. Издавна любя острый и волнующий талант Ахматовой, я позволяю себе напомнить об опасностях и тягостях доставшегося ей положения.

Статья М. Кузмина «Парнасские заросли», где рассуждение о популярности Ахматовой следовало за рассказом о резонансе «Двенадцати» Блока, вышла в свет с запозданием на год в альманахе «Завтра», выпущенном в Берлине в 1923 году.

Виктор Шкловский. Анна Ахматова «Anno Domini MCMXXI»

Книгоиздательство Петрополис. Петербург тысяча девятьсот двадцать второй год. Внешность книги очень хороша. Чрезвычайно удачна наборная обложка.

Книга обозначена датой написания, взятой как название.

Быть может поэт хотел подчеркнуть этим какую-то лирическую летописность своих стихов.

Это как будто отрывки из дневника. Странно и страшно читать эти записи. Я не могу цитировать в журнале эти стихи.

Мне кажется, что я выдаю чью-то тайну.

Нельзя разлучать этих стихов.

В искусстве рассказывает человек про себя, и страшно это, не потому, что страшен человек, а страшно открытие человека.

Так было всегда и «в беззаконии зачат» псалмов — страшное признание.

Нет стыда у искусства.

Один критик написал «Ахматова и Маяковский».

Если простить и забыть эту фельетонную статью, то можно показать на то, что действительно соединяет этих поэтов.

Они конкретны.

Маяковский вставляет в свои стихи адрес своего дома, номер квартиры, в которой живет любимая, адрес своей дачи, имя сестры.

Жажда конкретности, борьба за существование вещей, за вещи с «маленькой буквы», за вещи, а не понятия, это пафос сегодняшнего дня поэзии.

Почему же поэты могут не стыдиться? Потому, что их дневник, их исповеди превращены в стихи, а не зарифмованы. Конкретность — вещь, стала частью художественной композиции.

Человеческая судьба стала художественным приемом.

Приемом.

Да, приемом.

Это я сейчас перерезаю и перевязываю пуповину рожденного искусства.

И говорю:

«Ты живешь отдельно».

Прославим оторванность искусства от жизни, прославим смелость и мудрость поэтов, знающих, что жизнь, переходящая в стихи, уже не жизнь.

Она входит туда по другому отбору.

Так крест распятия был уже не деревом.

«Свобода, Санчо Пансо», сказал Дон Кихот, выезжая из двора дворца герцога.

Свобода поэзии, отличность понятий, входящих в нее, от тех же понятий до претворения — вот разгадка лирика.

Вот почему прекрасна прекрасная книга Анны Ахматовой и позорна была и будет работа критиков всех времен и народов, разламывающих и разнимающих стихи поэта на признания и свидетельства.

Константин Мочульский. Анна Ахматова «Anno Domini»

...Этот сборник состоит из трех частей: кроме перепечатки полностью уже известного нам «Подорожника», в нем помещено 14 стихотворений, объединенных заглавием «Anno Domini MCMXXI» (все они написаны в 1921 году), 15 стихотворений, названных «Голос памяти», относящихся к разным эпохам от 1914 до 1921 годов.

Так на страницах этой книжки запечатлены этапы восьмилетнего творческого пути; в ней перемежаются разные манеры, сплетаются несхожие мотивы, созвучат диссонирующие голоса. Трудно проводить грани, когда промежуток времени сравнительно так невелик, а эволюция техники поэта так постепенна и органична. Все же, думается нам, своеобразие художественной фактуры Ахматовой эпохи «Четок» может быть довольно ясно отличено от стиля «Белой стаи». Стихи 21 года в свою очередь выделяются особенностями новой «третьей» манеры.

Стихи «Четок» — грациозны и чуть вычурны. Они переливают нежными оттенками и капризными изломами, скользят по поверхности души. При сверкающей игре мелких

волн глубины остаются невозмущенными. Легкие тонические размеры, импрессионистическая разорванность синтаксиса, неожиданная острота финалов, эффектная простота словосочетаний — создают тонкое очарование этой женственной поэзии. Это стихи intérier'a, «прелестных» мелочей, эстетических радостей и печалей. Мир вещей с его четкими линиями, яркими красками, с его пластическим и динамическим разнообразием покоряет воображение поэта. Символом этой эпохи может служить «красный тюльпан в петлице». Внешнее так переплетается с внутренним, что пейзаж нередко становится выражением душевного состояния. Мотивы неразделенной любви, тоски и ожидания еще не закреплены болью и отчаянием. Поэт изображает жесты и позу эмоции, ее пластические атрибуты, и в таком изображении есть доля самолюбования. В «Четках» уже найдена резкая выразительность слова, но еще нет пафоса; есть манера, но нет стиля.

В «Anno Domini» одно стихотворение 13 года превосходно иллюстрирует эту манеру:

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут —

знакомая нам передача эмоций через описание наружности, даже туалета (ср. в «Четках»: «Я на правую руку надела перчатку с левой руки»).

Столь же характерно внешнее воплощение основного мотива — неразделенной любви в заключительных строках:

И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

Построение стихотворения в виде ребуса с разгадкой в последней строке (в данном случае, в одном эпитете — небывший) — основной композиционный прием в «Четках» (ср. «И в руках его навеки *нераскрытый* веер мой»).

В той же манере написаны пьесы «Как страшно измени-

лось тело» и «Ты мог бы сниться мне и реже». По стилистическим соображениям мы решаемся отнести к той же эпохе (1913—14 гг.) два недатированных стихотворения: «Я окошка не завесила» (ср. в «Четках»: «Ах, дверь не закрывала я») и «Проводила друга до передней».

Эпоха «Белой стаи» знаменует собой (1915—17 гг.) резкий перелом ахматовского творчества, огромный взлет к пафосу, углубление поэтических мотивов и законченное мастерство формы. Поэт оставляет далеко за собой круг интимных переживаний, «уют темносиней комнаты», клубок разноцветного шелка изменчивых настроений, изысканных эмоций и прихотливых напевов. Он становится строже, суровее и сильнее. Он выходит под открытое небо — и от соленого ветра и степного воздуха растет и крепнет его голос. В его поэтическом репертуаре появляются образы Родины, отдается глухой гул войны, слышен тихий шепот молитвы.

Из памяти как груз отныне лишний
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

После женственного изящества «Четок» — строгая мужественность, скорбная торжественность и молитвенность «Белой стаи». Раньше стихи привычно складывались в признание или беседу с милым — теперь они принимают форму размышления или молитвы. Прежде ломаные тонические ритмы — теперь монументальная грузность пятистопного ямба и александрииийского стиха. Вместо «мелочей бездумного житья» — цветов, птиц, вееров, духов, перчаток — пышные речения высокого стиля. Да, стиля, ибо в «Белой стае» из манеры «Четок» выплавляется и выковывается подлинный поэтический стиль.

В «Anno Domini» эта эпоха представлена 23 стихотворениями, из которых большинство относится к 1917 году. Безысходность тоски, ужас одиночества, вечная разлука и напрасное ожидание — вот душевное состояние:

«Сводом каменным кажется небо».
«И вот одна осталась я
Считать пустые дни».

И в этой муке одно прибежище — Господь, одно утешение — молитва. Простой бесхитростной верой полны ее стихи. Религиозный пафос «Белой стаи» не гаснет и в «Anno Domini». Типом лирической композиции становится любовная элегия с молитвенным воззванием в финале. Так, например, стихотворение «Эта встреча никем не воспета» заканчивается:

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи,—
Не для страсти, не для забавы,
Для *великой* земной любви.

В двух последних строках найдено эпиграмматическое противопоставление двух строев души — настоящего и прошлого.

Мистическое претворение «великой земной любви» дано в стихотворении «Ждала его напрасно много лет». Встреча с «женихом» изображается как мистерия:

Но воссиял неугасимый свет
Тому три года в Вербную субботу.

Свидание овеяно весенним ветром, колокольным звоном, звучащим как утешенье вещее. За окном идет народ со свечками («О, вечер богомольный»). И рука ее, принимающая поцелуй, закапана воском. Переполненная душа невольно поет евангельские слова: «Блаженная ликуй» (ср. в «Белой стае»: «Солеёю молений моих был ты, строгий, спокойный, туманный. Там впервые предстал мне жених...»).

Они расстаются: на прощание она дает ему кольцо и ждет его «долгие годы» «напрасно». Ее жизнь — «долгая дрема», «тяжелый сон». Даже петь она разучилась.

Не нашелся тайный перстень;
Прождала я много дней,
Нежной пленницею песня
Умерла в груди моей.
(1917)

Так идут дни, «печали умножая».

И сердце только скорой смерти просит,
Кляня медлительность судьбы.
(1917)

И снова мотив смерти песен:

Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою.

Слов все меньше; стихи достигают предела простоты и сжатости. Горе поэта стыдливо и скупо на слова. В этой «темнице гробовой», «в этом предчувствии неотвратимой тьмы» образ далекого возлюбленного кажется «ангелом, возмутившим воду». И личное страдание вырастает в скорбь о родине:

Теперь никто не станет слушать песен...
...
Не достучишься у чужих ворот.

События 1917 года вызывают к жизни такие строки:

Вот для чего я пела и мечтала,
Мне сердце разорвали пополам.
Как после залпа сразу тихо стало.
Смерть выслала дозорных по дворам.

Технически все стихи этой эпохи отличаются устойчивой классической композицией, полновесно-медлительным ритмом (преобладание пяти и шестистопных ямбов); строгой чеканностью слов. Появляются чистые описания и рассуждения. Темы «Белой стаи» — далекий возлюбленный, «отступник», светлый воин, убитый на войне, и «злой»-нелюбимый — три таинственных образа — разрабатываются и здесь. Но только в стихах 1921 года это тройное построение окончательно оформляется. (К эпохе «Белой стаи» мы считаем возможным отнести из недатированных стихотворений следующие: «Покинув рощи родины священной», «Смеркается», «Тот август, как желтое пламя» и «По неделе ни слова ни с кем не скажу»).

Мотив «далекого возлюбленного», отрекшегося от темной родины, покинувшего «грешную страну» для чужих «вод и цветов», ровной нитью проходит через последние стихотворения Ахматовой. В «Белой стае» мы читаем:

Высокомерьем дух твой омрачен,
И оттого ты не познаешь света...
Ты говоришь: моя страна грешна,
А я скажу: твоя страна безбожна.

Но отступник томится по преданной им родине и стучится к «нищей грешнице».

В «Подорожнике» мотив развивается:

Ты, отступник, за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну...

И такой же финал:

Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?

Теперь он может кощунствовать и чваниться, губя свою «православную душу» — он потерял благодать:

Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.

Но под суровым обличением таится бесконечная любовь, и в другом стихотворении поэт с мучительной нежностью говорит о нем, «тяжелом и унылом, отрекшемся от славы и мечты». В конце неожиданно-горестное признание:

Как за тебя мне Господа молить?
Ты угадал: моя любовь такая,
Что даже ты ее не мог убить.

В «Anno Domini» этот мотив достигает необычайного для Ахматовой пафоса и динамизма. Прерывистые, торопливые

строки — гневны и жестоки. Любовь перешла в ненависть.

А ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.
...
Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

Параллельно по построению другое изумительное стихотворение. Раскаленные страстью строки внезапно обрываются резко. Ускорение ритма непосредственно передает взволнованность души:

Нам встречи нет. Мы в разных станах...
...
Не обольстят.

Из этого проклятого круга любви и ненависти (эпиграф к «Anno Domini» «Nec sinete, nec tecum vivere possum»[1]) выводят поэта сверхличные чувства — любовь к родине и вера в свое призвание. В песнях дана великая свобода. От пытки земной страсти освобождает «дивный дар» песен, который «нетленней любви». В последнем сборнике — Муза проходит, как утешительница и друг. Ахматова благословляет «изменника» на союз с другой, а сама уходит «владеть чудесным садом, где шелест трав и восклицанья муз».

Темное земное томление переливается в песни, и над смертью отчаяньем царит «вольный дух»:

Я-то вольная. Все мне забава —
Ночью Муза слетит утешать,

---

[1] «Ни без тебя, ни с тобой жить не могу» (*лат.*; из Овидия).

А на утро притащится Слава
Погремушкой над ухом трещать.

По фактуре стихи 1921 года разнообразны и разнокачественны. Строгие классические формы преодолены. Чувствуется большая легкость и гибкость техники. Анапесты и хореи вытесняют александрийский стих. Открываются новые возможности словесных построений. Творчество Ахматовой, в отличие от поэзии символистов, основано на разработке интонаций живой речи. У символистов ритм, синтаксис и оркестровка подчинены музыкальному принципу, у Ахматовой — принципу интонационному. Их стихи — поются, ее — говорятся. И в этом динамика ее поэтической «дикции».

Константин Васильевич Мочульский (1892—1948), филолог-романист, был издавна близок к членам Цеха поэтов, занимался с Гумилевым латинским языком, с Мандельштамом — древнегреческим. До этой рецензии, напечатанной в парижском журнале «Современные записки» (1922, № 10), он писал о «Белой стае» (в газете «Одесский листок» в 1919 году) и о всем раннем творчестве Ахматовой от «Вечера» до «Белой стаи» (в софийском журнале «Русская мысль» в 1921 году). В 1917 году он записал свое стихотворение в альбом Ахматовой:

Своей любовию не запятнаю,
Не затуманю ясности твоей,
Снежинкою у ног твоих растаю,
Чтоб ты была спокойней и светлей.

В твоих глазах я не оставлю даже
Неуловимого воспоминанья.
Когда умру, Господь мне верно скажет,
Кому нужны были мои страданья.

Ни жизнь моя тебя не потревожит,
Ни смерть моя тебя не огорчит,
Но сладко верить, что на смертном ложе
Твой милый образ душу посетит.

Позднее на страницах книги Н. А. Бердяева «Самопознание» Ахматова встретилась с именем К. В. Мочульского, названного «писателем очень одаренным, обладавшим исключительной способностью понимать чужую мысль, ценить творчество другого».

Нина Волькенау. Анна Ахматова «Anno Domini»

Долгий путь — долгий подъем к высотам поэтического совершенства пройден Анной Ахматовой от «Вечера» до «Anno Domini», настолько долгий, что оглядываясь назад на первые этапы этого пути, мы с трудом улавливаем зачатки большой части тех творческих приемов, которые делают из Ахматовой одного из наиболее тонких и оригинальных художников словесного искусства наших дней. <...> Может быть, наиболее значительным из упомянутых выше особенностей «святого ремесла» Ахматовой является поразительное ее овладенье стихом, подчиненье строки и строфы значенью, с сохраненьем их технической цельности и ценности, точнее — соподчиненье их, творческое их сочетанье, создающее редкую выразительность, производящее непосредственное, высшее в своей полноте, единственно эстетическое действие. Так, например, столь характерные для нее разрывы строки резким, законченным высказыванием, долженствующим быть подчеркнутым по логическому своему смыслу и получающим особую значительность от следующей за ним цезуры. В то же время эта цезура, часто еще сопровождающаяся в той же строке enjambment, обостряет слишком привычное и в значительной степени утратившее свою действенность значенье строки как стихотворной единицы.

Иногда долженствующая быть подчеркнутой строка написана, среди трехдольных — двухдольным размером, или обратно; прибавляется или убавляется стопа, за такт. И никогда такие измененья не остаются неоправданными в своем значенье — в своей эстетической значимости.

То же в отношеньи строфического рисунка. За неименьем места подчеркну только удивительные каденцы Ахматовой. После нескольких четырехстиший — повышенное эмфатическое заключенье, ценное в своем порыве и развивающееся в одном предложеньи, заключенном в шестистишии, построенном на двух ритмах. Строфическое строенье часто меняется в одном стихотворении; характерно, что стихотворенья, состоящие из двух четверостиший, иногда пишутся вместе, как цельная строфа, иногда — разбиваются на две.

По моим наблюденьям, такое деленье тоже редко не оправдывается.

Забота о слове, любовь к нему и уменье ощущать его в самом остром, прямом и часто непривычном значеньи, уменье заставить по-живому и новому звучать старые слова очень развилось у автора.

Из стиха ее по-прежнему не выкинешь слова, по-прежнему каждое из них — новая линия рисунка тушью, новый удар резца в мраморе.

Такой тонкости, такой прекрасной, божественной ясности, как отрывки «Покинув...» и «Смеркается...», ей еще не удавалось достигнуть — да и мало кому удавалось. Невольно вспоминаешь «Онегина». Но бесконечно обогатилась тематика — про «Anno Domini» уже трудно сказать, что это только поэзия «брошенной любовницы».

Но — кончаю — об этой маленькой книжке можно и нужно писать длинные статьи, и рецензией нельзя исчерпать ее значенья и ее богатства.

Рецензия Нины Владимировны Волькенау напечатана в журнале «Гермес» (1922, № 1), издававшемся тиражом в несколько экземпляров группой московских поэтов и филологов.

Б. Акмеев. Анна Ахматова «Anno Domini»

Перед нами IV-ая книга стихов Анны Ахматовой, которую с таким жадным нетерпением ждали все, ценящие и чтущие ее прекрасный песенный дар. В трагический и роковой для поэта момент вышла эта маленькая, изданная так тщательно и прекрасно книга. И личная драма Ахматовой, потерявшей в пожаре войны и революции дорогих ей людей, наполняла страницы патетическим и трагическим исступлением, переходящим порой в надорванную истерику. Вместе с потрясающим трагизмом «Anno Domini» отличается от предыдущих книг Ахматовой огромным мастерством стиха, и сочетание этих двух качеств позволяет сказать, что Ахматова достигла вершины своего поэтического пути. Нам думается, что в дальнейшем мы услышим еще более прекрасные

стихи поэта, отстрадавшего уже всю земную муку и успокоенного в мудром творчестве. Обещание это мы видим в стихах:

А я иду владеть чудесным садом,
Где шелест трав и восклицанья муз.

Тревожная сила изобразительности Ахматовой, ее наиболее сильная сторона,— проявляется в «Anno Domini» еще резче, чем в предыдущем творчестве ее. Как изумительны по рисуемым образам строки: «Тот август, как желтое пламя, //Пробившееся сквозь дым,// Тот август поднялся над нами, //Как огненный серафим». Или «Сводом каменным кажется небо,// Уязвленное желтым огнем» или «Я слышу иволги всегда печальный голос// И лета пышного приветствую ущерб,// А к колосу прижатый тесно колос //С змеиным свистом срезывает серп». А огромная нежность ее любви, терпкая боль муки и пьяное вино ненависти с разящей читателя мощью звучит в таких строках: «Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом // Окаянной души не коснусь...» или «Как подарок, приму я разлуку // И забвение, как благодать» или «Мой румянец жаркий и недужный // Стерла богомольная печаль», и наконец такие жуткие слова: «От любви твоей загадочной, // Как от боли, в крик кричу, // Стала желтой и припадочной, // Еле ноги волочу». Небывалая острота напряженного переживания, глубина скорби, выходящей за пределы личности, становящейся общечеловеческой, делают Ахматову истинным поэтом философии упадочного надрыва. Но это определение не является оскорбляющим поэта, ибо каждая эпоха должна иметь своего отражателя в творчестве, и для эпохи упадка и перерождения русской интеллигенции таким является Ахматова, а кроме того, лучше быть Пушкиным упадка, чем Тредьяковским расцвета. <...> Дар вдохновения она пронесла бережно и свято сквозь ужасы и восторги, не прислуживаясь никому, и история это отметит.

В то время, как услужливые менестрели строчат стихи о том, что жизнь ныне уже безумно прекрасна, и наполняют Россию наших дней беломраморными дворцами и воздушными садами с громом музыки и толпами разодетых людей,— Ахматова прекрасно видит, что это бред, что кругом

только развалившиеся грязные дома, но за ними ее пророческий взгляд большого поэта угадывает великое будущее страны. И эти строки ценнее всех напыщенных гимнов.

Всё расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Всё голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес,—

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.

Рецензия, опубликованная в ташкентском журнале «Искусство и театр» (1922, № 1), по-видимому, принадлежит Борису Лавреневу, взявшему такой «говорящий» псевдоним в честь акмеизма — в ту пору Б. Лавренев увлекался поэзией Гумилева.

Юрий Тынянов. Из статьи «Промежуток».

И быстрые ноги к земле приросли

Есть другая опасность: увидеть как сгустки — собственные вещи — попасть в плен к собственной стиховой культуре.

Здесь — в первую очередь — вопрос о темах. В плен к собственным темам попадают целые течения — этому нас учит история. Как удивились бы наши школьники, если бы узнали, что темы «сентиментализма» — «любовь», «дружба», «плаксивость» его — вовсе не характеризуют самого течения (а стало быть, «сентиментализм» вовсе не сентиментализм). Да, любовь, дружба, скорбь по утраченной молодости — все эти темы возникли в процессе работы как скрепа

своеобразных принципов конструкции, как оправдание камерного стиля карамзинизма и как «комнатный» отпор высоким и грандиозным темам старших. А потом, потом самая тема была узаконена, стала двигателем — Карамзин подчинился Шаликову.

Но пример более к нам близкий — символизм, который только к концу осознал свои *темы* как главное, как двигатель — и пошел за темами и ушел из живой поэзии.

То же и с отдельными поэтами. Наша эпоха, которая много и охотно говорит о Пушкине, мало у него в сущности учится. А Пушкин характерен, между прочим, своими отходами от старых тем и захватом новых. Огромной длины эволюционная линия между «Русланом и Людмилой» и «Борисом Годуновым», а ведь промежуток здесь только в 5 лет. Этот переход был у Пушкина всегда революционным актом. Так в конце он отходил на историю, прозу, журнал — и вместе с тем на новые темы. Смелость его переходов нам мало понятна. Мы предпочитаем держаться своих тем. Наша эпоха предпочитает учиться у Гоголя — у Гоголя второй части «Мертвых душ», которого вела тема; опустив голову, поэты бредут в плен собственных тем.

Они не помнят и веселого примера Гейне, вырвавшегося на свободу из канона собственных тем, из «манеры Гейне», как он сам писал. И каких тем! Любви, ставшей каноном для всего XIX века. Он, как и Пушкин, не стыдился измен. В поэзии верность своим темам не вознаграждается.

В плену у собственных тем сейчас Ахматова. Тема ее ведет, тема ей диктует образы, тема неслышно застилает весь стих. Но любопытно, что когда Ахматова начинала, она была нова и ценна не своими темами, а *несмотря* на свои темы. Почти все ее темы были «запрещенными» у акмеистов. И тема была интересна не сама по себе, она была жива каким-то своим интонационным углом, каким-то новым углом стиха, под которым она была дана; она была обязательна почти шепотным синтаксисом, неожиданностью обычного словаря. Был новым явлением ее камерный стиль, ее по-домашнему угловатое слово; и самый стих двигался по углам комнаты — недаром слово Ахматовой органически связано с особой культурой выдвинутого метрически слова (за которой укрепилось неверное и безобразное название

«паузника»). Это было совершенно естественно связано с суженным диапазоном тем, с «небольшими эмоциями», которые были как бы новой перспективой и вели Ахматову к жанру «рассказов» и «разговоров» не застывшему, не канонизованному до нее; а эти «рассказы» связывались в сборники — романы (Б. Эйхенбаум).

Самая тема не жила вне стиха, она была стиховой темой, отсюда ее неожиданные оттенки. Стих стареет, как люди,— старость в том, что исчезают оттенки, исчезает сложность, он сглаживается — вместо задачи дается сразу ответ. В этом смысле характерным было уже замечательное «Когда в тоске самоубийства...». И характерно, что стих Ахматовой отошел постепенно от метра, органически связанного с ее словом вначале. Стихи выровнялись, исчезла угловатость; стих стал «красивее», обстоятельнее; интонации бледнее, язык выше; библия, лежавшая на столе, бывшая аксессуаром комнаты, стала источником образов:

Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Это тема Ахматовой, ее главная тема пробует варьироваться и обновиться за счет самой Ахматовой.

Статья Ю. Н. Тынянова «Промежуток», содержавшая обзор современной русской поэзии, появилась в четвертом, последнем номере журнала «Русский современник» (1924). Тынянов цитирует стихотворение «Лотова жена», напечатанное в первом номере этого журнала.

Кн. Д. Святополк-Мирский. Поэты и Россия

Никогда поэты не занимали такого места в русской жизни, как в наше, революционное, время. Ими, с 1905 года, пишется самая значительная страница нашего самопознания. Правда, их голос доходит до немногих, и те не всегда имеют уши. Но это в порядке вещей, чтобы пророков не слышали,

не слушали и не узнавали. В пророческой же природе современной русской поэзии сомневаться уж нельзя,— слишком она очевидна. И дело, конечно, не в отдельных, «поразительных предсказаниях» (вроде прославленного и затасканного Лермонтовского «Настанет год, России черный год»), в конце концов случайных и лишенных необходимости, а в том, что в наши дни русские поэты снова стали *чувствилищем* народной души, в которой события совершаются раньше, чем в мире событий гражданских. Флаг поэзии взвивается ветром истории прежде, чем приходит в движение поверхность народного моря.

Поэзия 19-го века была лишена этой пророчественности. Золотой Век нашей поэзии был обращен лицом в прошлое. Позднейшая поэзия была оторвана от общей жизни России и питалась поверхностными соками — отсюда ее худосочие. Одно исключение — Некрасов. У него и, гораздо раньше, у Державина была та со-чувственность общей жизни, которой отмечены высшие поэты современности. Поэтому Державин и Некрасов самые близкие нам теперь поэты. Начала Державинское и Некрасовское,— начала восторга и сострадания, начала современной нам Русской поэзии.

При всем их внешнем, и внутреннем, несходстве, общего у Державина и Некрасова то, что они поэты более чем личные,— гражданские, национальные, политические (zoon politikon), словом поэты *общей* жизни. И другие поэты (Пушкин, Тютчев) писали стихи на политические и общественные темы,— но подлинно «гражданские» поэты, как Державин и Некрасов, отличаются от других тем, что их творчество устанавливает некоторый знак равенства между общим и частным, и что ими жизнь общая переживается, как неотдельная от своей. У Державина рамки личного раздвинуты настолько, что включают высокие и обширные переживания торжествующей России; у Некрасова, наоборот, «страдания народа» как бы сжимаются до совпадения со страданиями личными[1]. Но и у того и у другого общее слито с личным,

[1] У Некрасова есть и другой путь совпадения с общим, с этими несходный, путь подлинного народного, сверх-индивидуального творчества («Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо» и т. д.), в котором «страдания» уже преодолеваются общностью.

и поэт — чувствилище «общества». Отсюда свойственная обоим поэтам гиперболичность, некоторое как бы отсутствие чувства меры, столь резко отделяющее их от великого гуманиста и «личника» Пушкина.

При таком сходстве такое же, если не еще большее различье. Победный, восходящий, мажорный строй Державина —

Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь.

И мученический, нисходящий, минорный у Некрасова —

Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно.

В поэзии предреволюционной, поскольку она была «гражданской», господствовало начало Некрасовское. Начало Державинское, после больше чем столетнего сна, впервые вновь зазвучало в поэзии, гражданской и негражданской, наших дней.

Когда после 1905 года впервые были услышаны гражданские, «некрасовские» стихи символистов, на них мало обратили внимания, разве что удивились, как это «декаденты», начавшие реакцией против «гражданской поэзии» 80-х годов (которая не была, конечно, ни гражданской, ни поэзией, а всего только интеллигентским дребезжанием), вдруг занялись не своим делом. На поверхности «общественного» сознания эпоха Третьей Думы была одной из самых благополучных, наименее трагических эпох Русской истории. Новая, обуржуаженная, интеллигенция устраивалась не на вулкане. Был Золотой Век эстетики и экономики. Революция исчезла. Мы обогащались и развивались, и с высоты *Аполлона* и *Речи* посматривали с презрением на допотопное *Русское Богатство.* Но в глубине национальной жизни происходило другое. И то, чего не слышали газеты, слышали поэты. Гражданская поэзия Блока (и в меньшей мере Белого) была ветром из близкого будущего, ветром —

С Галицийских кровавых полей,

за которым вставали

Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

Новое, высокое бремя пророчества и со-чувствования с еще не наставшими страданиями народа принимали на себя поэты, и особенность этого факта подчеркивалась тем, что принимал это бремя самый индивидуальный, самый замкнутый, самый бесплотный из поэтов. Не менее удивительна была пророческая и некрасовская со-чувственная настроенность у поэта еще более личного (и к тому же гораздо менее стихийного и очень «только-человеческого»)—Анны Ахматовой, в стихах ее, написанных в июле 14-го года. И еще удивительнее, может быть, первые звуки «Державинской» гражданственности (первые раскаты революционного грома) в поэмах, написанных в глушайшие для Революции годы войны,—шарлатаном и шутом, ходившим еще тогда в желтой кофте и никем из революционеров всерьез не принимавшимся—Владимиром Маяковским. Все эти предчувствия не были случайны и разрознены,—они органически и неразрывно входили в целое творчества каждого из этих поэтов (теряли даже свою понятность вне связи с этим целым). Вместе же они сливались в один грозный гул надвигающихся Событий.

Переставши после Революции быть пророчественной, «Некрасовская» линия не сразу умолкла и не сразу ослабла. Наоборот, самые, может быть, сильные ее создания возникли после События—*Двенадцать* Блока, лучшие гражданские стихи Ахматовой. Но общая *тональность* русской поэзии стала меняться. Ее равнодействующая впервые после многих поколений из нисходящей стала восходящей. Есть символический смысл в дате и в имени книги Бориса Пастернака, написанной летом семнадцатого года,—*Сестра Моя Жизнь:* на человеческой памяти ни один русский поэт с такой сестрой не братался.

В младшей, послереволюционной поэзии господствует мажорная, восходящая, «Державинская» тональность. Державинское начало воскресло в поэзии Гумилева, Маяковского, Пастернака, Марины Цветаевой. (То, что эти поэты существовали уже до 17-го года, кроме общеизвестного

факта, что история не считается с хронологией, только подтверждает пророческую природу поэзии).

Кроме мажорности, этих поэтов объединяет еще одна черта — то, что можно было бы назвать их не- или сверхчеловечностью. В этом опять они через голову 19-го века подают руку Державину. Узкие границы человеческой меры, предписанные нам Пушкиным и укрепленные великими реалистами — перейдены. Мир возвращается в поэзию. Северное Сияние Ломоносова перекликается с Солнцем Маяковского, и золотые стерляди Державина с красными быками Гумилева. И не только 18-ый век (наше средневековье, по верному слову Кохановской, и, конечно, раннее средневековье космических мифов, а не схоластиков и трубадуров) приближается к нам. До-Петровская Россия, Аввакум и Игорь, и вся народная поэзия (уже не в сентиментально-славянофильском преломлении) становятся нам ближе. «Вдруг стало видно далеко во все концы света», слова Гоголя, знаменательно стоящие эпиграфом к одному из удивительнейших стихотворений *Сестры Моей Жизни.* И Россия, как единство, как один рост, «От князя Игоря до Ленина» для нас реальнее и зримее, чем была когда-нибудь.

И еще одно — современная, рожденная из декадентства, «оторванная от почвы», настойчиво-индивидуальная и оригинальная поэзия наших дней, чуть ли не впервые за все существование нашей литературной поэзии, перекликается с поэзией народной — с современной частушкой.

| *Версты*, Париж, 1926, № 1.

Владимир Вейдле. Из очерка «Умерла Ахматова»

Еще на западе земное солнце светит,
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.

Я познакомился с ней лишь через два года после того, как были написаны эти стихи, и бывал у нее довольно часто

в 23-ем и в первой половине следующего года. Она все приняла, и кресты эти, и воронов, голод, маузеры и наганы, серость новых хозяев, участь Блока, участь Гумилева, осквернение святынь, повсюду разлитую ложь. Она все приняла, как принимают беду и муку, но не склонилась ни перед чем. Оценка происшедшего и просходившего подразумевалась; не было надобности об этом и упоминать. Перед моим отъездом Анна Андреевна просила меня навести в парижской русской гимназии справки насчет условий, на которых приняли бы туда ее сына, если бы она решилась отправить его в Париж. Я справок не наводил, не очень в это предприятие верил, да и писать ей боялся, чтобы ей не повредить. Сама она никуда уезжать не собиралась. Ее решение было непреложно; никто его поколебать не мог. Пытались многие, друзья ее один за другим уезжали или готовились уехать. Часть их переходила границу тайно; они предлагали перевести и ее. Такого же рода предложения получала она и от уехавших. С улыбкой рассказывала мне об этом. Я ее уезжать не уговаривал, и не только из робости; не стал бы уговаривать, даже если был бы старше ее и связан с ней давнею большою дружбой. Я чувствовал и что она останется, и что ей нужно остаться. Почему «нужно», я, быть может, тогда хотел и не сумел бы сказать, но смутно знал: ее поэзия этого хотела, ее нерожденные еще стихи могли родиться только из жизни, сплетенной с другими, со всеми жизнями в стране, которая, для нее, продолжала зваться Россией.

Приближалась она тогда к тридцати пяти годам. Часто хворала, была очень худа, цвет лица у нее был немножко землистый, руки тощие, сухие, с длинными, слегка загнутыми внутрь пальцами, напоминавшими порой когти большой птицы. Жила в скудости, одевалась более чем скромно. Показала мне раз монетку, хранимую ею: старушка ей подала на улице, приняв за нищенку. Но старушка все-таки была, нужно думать, подслеповата. Стать и поступь этой нищенки были царственны. Не только лицом — прекрасным и особенным, скорее, чем красивым — но и всем своим обликом была она незабываемо необычайна. Знала это, разумеется, очень хорошо (было кому и научить, если бы сама не догадалась). Иногда поэтому, в обществе людей не близко ей знакомых, проявлялась у нее некоторая манерность. Зато

как бесконечно была она проста, мила, умна, когда угощала меня — поклонника, но не претендента — самодельным печеньем с чашкой кофе, и никого не было при этом или была одна, нежно любимая ею «Олечка» (Глебова-Судейкина). Читала, если попросить, стихи; прочла однажды, по моей особой просьбе, «У самого моря» (там, всегда мне казалось, в движении, в пении стиха есть что-то, из чего родилось все самое ахматовское в Ахматовой). О себе она не говорила, болезненно-близких имен (Гумилева, например) никогда не произносила; но об одном — радуюсь — я от нее узнал, не житейском, но касающемся писания стихов, а значит жизненном, и для нее, жизнью поэта живущей, существенном. Она мне сказала, что, слагая стихи, она никогда в руки не берет пера и бумаги. Работает долго над каждым стихотворением, но записывает его лишь в полностью отделанном виде, после того, как прочла друзьям, порой через неделю или две после эстрадного его чтения. Она и вообще писать, писем хотя бы, по ее словам, терпеть не могла, пера в руке держать не любила. Да и сочинять какие-нибудь нестихотворные тексты было ей тягостно. Когда чествовали Сологуба, она меня попросила составить краткое приветствие, которое прочла на сцене Александринского театра, в полном великолепии на этот раз, в белом шелковом платье, чуть ли не со шлейфом,— а если не было шлейфа, было легко, на нее глядя, шлейф вообразить. Но вообразить ее нанизывающей безличные фразы такого (от союза писателей) приветствия было нелегко. У нее и почерк был старательный и негибкий, как у тех, кто не привык писать. Умиляюсь надписям на двух сборниках, одновременно мне подаренных, вспоминаю, как она их тщательно выводила; коротенькие, а на второй устала, подписалась одной фамилией. Но как показательно, как ей к лицу это вынашиванье стихов в себе, долгое, без записи, это пребывание в ней слова среди забот, утех, скорбей. С каким вниманием слушала она музыку его, как бережно его несла... И вот, сквозь долгую жизнь, нетленно донесла до гроба.

Сорок два года еще жила там, где нас нет. Как их прожила, этого мы в подробностях не знаем. Читали (трудно в этом сомневаться) лишь часть написанного ею за эти годы. Но этого достаточно. Предполагаем, что думала о нас,

здешних, ставила себя на наше место (например, когда писала стихотворение свое — одно из лучших ею написанных — о Лотовой жене). Знаем, что не осудила. Знаем еще тверже: и нам благодарить ее надо за то, что она осталась там.

Отрывок из очерка видного эмигрантского критика Владимира Васильевича Вейдле (1895—1979) воспроизводится по книге: *Вейдле В.* О поэтах и поэзии. Париж, 1973.

Борис Пастернак. Из письма к А. А. Ахматовой

17 апреля 1926

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Как Вас благодарить, что не забыли Вашего слова в ответ на мое восклицанье, вырвавшееся так безотчетно и так ведь верно! Еще труднее описать чувство радости при полученьи этой удивительной карточки с удивительной Ахматовской надписью, совершенной в ее кажущейся случайности, как и все у Вас. Вы может быть забыли? Там сказано: «от этого садового украшенья»!

Но, Анна Андреевна, зачем Вы так небрежете здоровьем? Горнунг передает, будто Вы опять хвораете. А я-то на радостях написал Цветаевой (знаете, в тот вечер, что мы о ней говорили, она читала Вас в Лондоне),— про сказочную перемену, которую нашел в Вас, и эта радость успела там распространиться. Если бы я не верил в доброту всякого глаза, устремленного на Вас, я бы из предосторожности перестал заикаться о Вашем здоровье. При таком же убеждении мне хочется просить Вас, положенья этого не колебать. От всего сердца желаю Вам скорейшей поправки.

Лев Владимирович Горнунг (р. 1902) — поэт, собиратель материалов по истории русской литературы.

Всеволод Петров. Из мемуаров «Фонтанный Дом»

Однажды мне посчастливилось сделать находку, особенно заинтересовавшую Николая Николаевича: в одном из черновых альбомов Бенуа я обнаружил портретную зарисовку, изображающую поэта Иннокентия Анненского на редакционном совещании в «Аполлоне».

Кажется, никто из художников не делал портрета Анненского; находка представляла, таким образом, некоторый общий интерес, для Пунина — особенно большой. Он был учеником Анненского в Царскосельской гимназии и преданным поклонником поэта в течение всей своей жизни.

А. А. Ахматова тоже любила и высоко ценила Анненского.

После этой находки Николай Николаевич пригласил меня в гости, чтобы представить Ахматовой.

Вечером я не без волнения отправился к Пунину в садовый флигель старинного шереметевского дома на Фонтанке.

В XVIII столетии этот дом называли Фонтанным. Под окнами флигеля рос огромный клен, он упомянут в «Поэме без героя».

Впоследствии я бывал там очень часто. Николай Николаевич жил в этом доме до своего последнего ареста, то есть до осени 1949 года, а Анна Андреевна только в 1950-х годах переехала, вместе с дочерью Н. Н. Пунина, на новую квартиру возле Таврического сада.

Мне навсегда запомнилось первое посещение Фонтанного дома.

Анне Андреевне было тогда лет 45. Высокая, стройная, очень худощавая, с черной челкой, она выглядела почти совершенно так же, как на портрете, написанном Альтманом.

Я вспомнил тогда строчки из воспоминаний графа Соллогуба о знакомстве с женой Пушкина. Соллогуб писал: «В комнату вошла молодая дама, стройная, как пальма». Так можно было бы написать и об Ахматовой.

Пунин представил меня. Я почтительно поклонился и передал Ахматовой фотографию с рисунка Бенуа.

Меня поразил голос Ахматовой, теперь уже знакомый многим по пластинкам и магнитофонным записям — голос,

глубокий и низкий, прекрасно поставленный, обладающий необыкновенной чистотой и полнотой звука: голос, который нельзя забыть.

Ахматова заговорила о моих архивных поисках и находках.

— Они очень приближают вас к атмосфере той эпохи, нашей эпохи,— сказала она, взглянув на Пунина.

— Архив «Аполлона» чрезвычайно интересен,— ответил я.— Но мне бросилась в глаза одна странность. Там имеются письма Анненского, Гумилева, Кузмина и почти всех других сотрудников журнала. Но нет ни одной строчки, написанной вами. А ведь вы много раз печатались в «Аполлоне».

Ахматова улыбнулась.

— Я никогда не пишу писем,— сказала она.— В случаях самой большой крайности посылаю телеграммы.

За 25 лет моего дальнейшего знакомства с Анной Андреевной я часто с ней виделся; она не раз звонила мне по телефону, но я не получил от нее не только ни одного письма, но даже короткой записки — и только одну телеграмму с выражением сердечного и дружеского сочувствия по поводу кончины моей матери.

Но нужно вернуться к впечатлениям первого моего вечера в Фонтанном доме.

Я с затаенным, но пристальным вниманием всматривался в необыкновенных людей, с которыми свела меня судьба. Они казались мне живым воплощением духа той эпохи, которая совпала с годами их молодости. Эпохи поразительного, небывалого, с тех пор уже не повторявшегося взлета русской культуры. Я полюбил эту эпоху уже тогда, в моей юности, потом изучал ее в течение всей моей жизни, и навсегда благодарен Ахматовой и Пунину, которые помогли мне понять их время и непосредственно к нему прикоснуться.

Я пишу это в 1972 году, со своих сегодняшних позиций; тридцать с лишним лет назад я едва ли смог бы сформулировать свои чувства именно в таких выражениях. Но нечто подобное мерещилось и предчувствовалось мне тридцать лет назад — и это не могло не накладывать известного отпечатка на мои отношения с Ахматовой и Пуниным.

Отношения были вначале не совсем простыми и, как я теперь понимаю, несколько неуютными. Сознание несоизмеримости моих собственных масштабов с масштабами таких людей, как Ахматова и Пунин, смущало меня и держало в каком-то непрестанном напряжении. Должно было пройти немало времени, пока Николай Николаевич и Анна Андреевна стали для меня привычными, милыми и близкими людьми, и я смог наконец не только восхищаться ими, но и сердечно их полюбить. Впрочем, они шли мне навстречу и великодушно не замечали моего смущения.

Они были похожи и непохожи друг на друга.

Тогда, в начале тридцатых годов, они производили впечатление очень нежной влюбленной пары, почти как молодожены, хотя были вместе уже лет десять, если не больше. Пожалуй, Ахматова казалась более влюбленной, чем Пунин.

Их воззрения и вкусы совпадали если не во всем, то, во всяком случае, в главном: я никогда не слышал споров между ними. Но натуры у них были разные, может быть, даже противоположные.

Выше я назвал Пунина романтиком, и в дальнейшем вернусь к этой теме. Что касается Ахматовой, то в ней не было романтизма: в ней необыкновенно отчетливо выступал дух высокой классики, в пушкинских и гетевских масштабах. Я думаю, что самым сильным и самым характерным качеством Анны Андреевны можно назвать безошибочное чувство формы; оно проявлялось у нее во всем, начиная с творчества и кончая манерой говорить и держаться.

Не знаю, понятна ли моя мысль, и вообще возможно ли определять человеческие характеры стилевыми категориями искусств, но ведь люди, о которых я говорю, сами были явлениями искусства. Прибавлю в пояснение, что под «чувством формы» и «духом классики» я разумею сознательно предустановленную внутреннюю гармонию и такт в самом широком и точном смысле этого понятия. Классически ясному сознанию Ахматовой противостояли романтический хаос и пронзительная интуиция Пунина.

Анна Андреевна казалась царственной и величественной, как императрица — «златоустая Анна Всея Руси», по вещему

слову Марины Цветаевой. Мне кажется, однако, что царственному величию Анны Андреевны недоставало простоты — может быть, только в этом ей изменяло чувство формы.

При огромном уме Ахматовой это казалось странным. Уж ей ли важничать и величаться, когда она Ахматова!

Но тут я не смею судить, потому что слишком мало и только со стороны знаю тяжелую и трудную внутреннюю жизнь Анны Андреевны. Что-то извне, из самой эпохи тридцатых годов, такой зловещей и неблагополучной, постоянно вторгалось в ее душу, и разрушало предустановленную гармонию. А в тайные уголки своей души Ахматова, я думаю, не допускала никого.

Может быть, одной из причин внешнего самоутверждения, среди множества других причин, могло послужить то отчасти ложное положение, в каком оказалсь Анна Андреевна по отношению к семье Пунина. Он жил в одной квартире с первой женой. Тут же жила их маленькая дочь.

Когда мы вечером пили чай, обе дамы сидели за столом вместе. Со стороны могло показаться, что они дружны между собой. Но так ли оно было на самом деле, я не знаю.

Атмосфера неблагополучия, глубоко свойственная всей эпохе, о которой я рассказываю, может быть, нигде не чувствовалась так остро, как в Фонтанном доме. Над его садовым флигелем бродили грозные тучи и несли несчастья, которые падали на голову Пунина и Ахматовой.

Жизнь привела их в конце концов к тяжелому разрыву.

Но случилось это еще не в ту пору, о которой я теперь говорю — это случилось несколькими годами позже.

А тогда старый клен, описанный потом в «Поэме без героя», еще казался зеленым и свежим.

Отрывок из воспоминаний искусствоведа Всеволода Николаевича Петрова (1912—1978): *Наше наследие*, 1988, № 4.

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПУШКИНА

I

«Сказка о Золотом Петушке» Пушкина сравнительно мало привлекала внимание исследователей.

В историко-литературных статьях и комментариях мы находим очень скупые и неточные сведения о последней сказке Пушкина (1834 г.).

Отсутствие фабулы «Сказки о Золотом Петушке» в русском и иностранном фольклорах привело к мысли, что эта сказка имеет литературный источник.

Однако все поиски в течение последних 20-30 лет не увенчались успехом.[1]

Попытки найти источник «Сказки о Золотом Петушке» в сказках «Тысяча и одной ночи» также кончились неудачей.

Мне удалось найти источник «Сказки о Золотом Петушке». Это — «Легенда об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга из книги «Альгамбра».

Книга Вашингтона Ирвинга «The Alhambra» вышла в 1832 году в Париже.[2]

Одновременно в Париже был издан и французский, довольно точный, перевод этой книги.[3]

В числе семи книг Ирвинга в библиотеке Пушкина нахо-

---

[1] Указание В. Сиповского на сказку Клингера «Le coq d'or» как на источник «Сказки о Золотом Петушке» — совершенно неосновательно.

[2] The Alhambra, or the New Sketch Book by Washington Irving. 1832. (W. Galignani.).

[3] Les contes de l'Alhambra, précédés d'un voyage dans la province de Grenade; traduit de Washington Irving, par m-lle A. Sobry. Paris 1832 (H. Fournier). T. I-II.

дится и французское двухтомное издание «Альгамбрских сказок».[4]

Еще при жизни Пушкина критика отмечала воздействие Вашингтона Ирвинга на автора «Повестей Белкина» (Н. Полевой в «Московском Телеграфе» и анонимный рецензент в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» в 1831 г.).

Вопрос о непосредственном влиянии Ирвинга на Пушкина до сих пор остается открытым.[5]

Сам Пушкин упоминает об Ирвинге только один раз — в своем пересказе биографии Джона Теннера (1836 г.).

II

В 20-30 годах XIX века Вашингтон Ирвинг был очень популярен в России. Многочисленные переводы его произведений находятся во всех наиболее известных журналах того времени: «Московском Телеграфе», «Вестнике Европы», «Атенее», «Сыне Отечества», «Телескопе» и «Литературной Газете». Поэтому «Альгамбрские сказки», вскоре после того как были изданы в Париже, сделались предметом обсуждения русских журналов.

Уже в июльском № «Московского Телеграфа», вышедшем в октябре 1832 года, появилась первая рецензия на «Les contes de l'Alhambra».

> «...В. Ирвинг написал уже: Историю Коломба, Историю завоевания Гренады. Теперь он описывает нам свое путешествие в Гренаду, видит в Альгамбре символ владычества и бытия мавров в Испании и рассказывает суеверные предания, какие воображение Испанцев вывело из развалин Дворца Мавританского. Вы читаете сначала путешествие В. Ирвинга по Южной Испании; потом подробное описание Альгамбры. Автор поселяется на время в Альгамбре, и разные случаи, разные встречи подают повод к рассказам старых преданий, или, лучше сказать, сказок

---

[4] № 1019, «разрезан, помет нет». (См. Б. Модзалевский, Библиотека Пушкина.)

[5] М. П. Алексеев доказал, что «История села Горюхина» Пушкина и «История Нью-Йорка» Ирвинга — вещи одного жанра. (См. «К истории села Горюхина». Пушкин. Статьи и материалы. Вып. II. Одесса, 1926.)

об Альгамбре. Всех сказок семь: Арабский звездочет; История о трех прекрасных принцессах; История о принце Ахмеде-Аль-Камеле, или Пилигриме любви; Наследство Мавра; Альгамбрская роза или паж и сокол; Губернатор Манко и солдат; Две статуи.— Что сказать об них? Они все остроумны, и многие занимательны: но все равно, если бы наши Русские сказки начал рассказывать француз: так и В. Ирвинг рассказывает сказки Мавританские. Одна из них была переведена в Телескопе, но очень некрасиво, и при том это самая плохая. Лучшие по нашему мнению: Арабский звездочет, Пилигрим любви, Две статуи, Паж и сокол и Наследство Мавра. Постараемся перевести которую-нибудь из них для читателей Телеграфа, с Английского подлинника» (стр. 250-251).

Перевод одной из «Альгамбрских сказок», о котором рецензент «Московского Телеграфа» дал неодобрительный отзыв, был помещен в IX части «Телескопа» (сентябрь): «Губернатор Манко из Альгамбры, нового сочинения Вашингтона Ирвинга».

В особом примечании издатель характеризует эту вещь как «народную испанскую сказку, обработанную В. Ирвингом».

Обещанный рецензентом «Московского Телеграфа» перевод одной из цикла «Альгамбрских сказок» был напечатан в №№ 21 и 22 (ноябрь). Это перевод «Истории о принце Ахмеде-аль-Камеле», со следующим примечанием:

«Мы получили повесть сию при письме, в котором г-н переводчик говорит, между прочим, следующее: „в 14-м № Московского Телеграфа упоминаете вы, что намерены перевести для читателей своих одну из Альгамбрских Повестей. Не угодно ли будет вам поместить в Телеграфе посылаемую мной повесть из сей книги, которую перевел я уже всю, вполне, и хотел бы знать предварительно, стоит ли перевод мой печатания?"»

Таким образом «Альгамбрские сказки» были полностью переведены на русский язык вскоре после появления английского и французского изданий. Однако, по неизвестным нам причинам, этот перевод остался ненапечатанным.[6]

---

[6] Из цикла «Альгамбрских сказок» были напечатаны: в 1835 г. в «Сыне Отечества» (№ 70) — «Альгамбрская роза», в 1836 г. «Губернатор Манко» («Сорок одна повесть лучших иностранных писате-

Наконец, в «Библиотеке для Чтения» 1835 г., в IX томе, где впервые была напечатана «Сказка о Золотом Петушке», появилась статья «Вашингтон Ирвинг», представляющая собой перевод из «Revue Britannique».

Здесь дана следующая характеристика «Альгамбрских сказок»:

> «Альгамбрские повести» непосредственнее принадлежат вымыслу [автор статьи сравнивает «Альгамбру» с «Летописями покорения Гренады»], но с романтическими преданиями там смешаны путевые воспоминания, в которых и та же свежесть и та же прелесть, что в описаниях sketch book».

Большая часть «Альгамбрских сказок» — это новеллы о мавританских кладах.

В письмах Ирвинга из Альгамбры он неоднократно упоминает о своем проводнике Матео Хименесе, рассказы которого он записал.[7]

Впрочем, сам Ирвинг разоблачает свой метод «воссоздания» народных легенд:

> «Познакомив читателя с местностью Альгамбры, я теперь перейду к области чудесных легенд,... которые я усердно соби-

---

лей», ч. IX). Полный перевод «Альгамбры» был издан в 1879 г.: Вашингтон Ирвинг. Путевые очерки и картины, пер. с англ. А. Глазунов. М. 1879. См. также: Наследство Мавра и Арабский Астролог. Испанские легенды. Соч. В. Ирвинга. Изд. «Народной Библиотеки». М. 1889 г. (стр. 71, ц. 10 к.).

[7] Письмо Ирвинга из Альгамбры, от 15 марта 1828 г.: «...я получил от моего проводника много весьма любопытных подробностей о суевериях, которые существуют среди бедного народа, населяющего Альгамбру, и которые касаются ее старых разрушающихся башен. Я записал эти забавные маленькие истории, и он обещал мне сообщить еще другие. Они преимущественно относятся к маврам и богатствам, которые те схоронили в Альгамбре, и к появлению их потревоженных духов среди башен и развалин, где спрятано их золото». (The Life and Letters of Washington Irving. London. 1862 г., т. I, стр. 435.).

Один из «рассказов» Хименеса (с ссылкой на Ирвинга), в качестве «народного», мы находим в «Письмах об Испании» В. П. Боткина (стр. 412). Ср. В. Ирвинг. Путевые очерки и картины. М. 1879 (стр. 266).

рал, пользуясь всевозможными рассказами и малейшими намеками, как пользуется археолог несколькими уцелевшими буквами почти стертой надписи, чтобы восстановить какой-нибудь исторический документ» (гл. «Местные предания»).[8]

Кроме цикла новелл о кладах, в книге находятся: легенда «История о трех прекраснейших принцессах» и две пародийные волшебные сказки — «Легенда о принце Ахмеде-аль-Камеле» и «Легенда об арабском звездочете».

III

Сюжет пародийной «Легенды об арабском звездочете» чрезвычайно сложен, с чудесными происшествиями и со всеми аксессуарами псевдоарабской фантастики, которую сам Ирвинг характеризует как «Гарун-аль-Рашидовский стиль».

Легенда довольно длинна, и поэтому я ограничусь здесь самым кратким пересказом.

На старого мавританского короля Абен-Габуза нападают враги.

Арабский звездочет Ибрагим, ставший советником короля, рассказывает ему о талисмане, предупреждающем о нападении врагов (петух и баран из меди), и сооружает

---

[8] 19 октября 1830 г. Ирвинг писал из Лондона: «...Я закончил три сказки из «Альгамбры» и работал над тремя другими. Долгоруков, прочитавший законченные, очень одобрительно о них отзывается, а он по своему знанию страны, тех мест и народа может судить о верности местного колорита этих произведений». (The Life and letters of Washington Irving. т. I, стр. 521.). Кн. Дмитрий Иванович Долгоруков (1797-1867), сын поэта И. М. Долгорукова, был в это время секретарем русского посольства в Лондоне. С Ирвингом Долгоруков подружился в Мадриде, где был атташе русского посольства. До своей дипломатической карьеры Д. писал стихи и был членом общества «Зеленая лампа», где он встречался с Пушкиным. С 4 апреля 1820 г. Долгоруков — чиновник русского посольства в Константинополе (вместе с С. И. Тургеневым и Д. В. Дашковым). В 1821 г. он вернулся в Петербург. В письме Пушкина к С. И. Тургеневу (из Кишинева, от 21 августа 1821 г.) есть упоминание о Долгорукове: «...Кланяюсь Чу [Д. В. Дашков], если Чу меня помнит — а Долгорукой меня забыл».

другой талисман с тем же назначением (медного всадника). [9]

Враги Абен-Габуза уничтожены.

Талисман снова начинает действовать.

Разведчики находят в горах готскую принцессу.

Король влюбляется в принцессу.

Звездочет требует девицу в награду за все оказанные королю услуги.

Король, давший слово наградить звездочета, отказывается.

Происходит ссора звездочета с королем.

Звездочет и принцесса проваливаются в подземное жилище звездочета.

Талисман перестает действовать и превращается в простой флюгер.

Враги снова нападают на «отставного завоевателя»[10] Абен-Габуза.

В этой легенде Ирвинг использовал материал своих исторических сочинений, над которыми он работал во время своего пребывания в Альгамбре. Эти сочинения: «История покорения Гренады» (изд. в 1829 г.), «Завоевание Испании» (изд. в 1835 г.) и «Магомет и его преемники» (изд. в 1850 г.).

Вашингтон Ирвинг был известен своим современникам как литературный мистификатор, продолжатель традиций «Великого Незнакомца»—Вальтер Скотта.

За три года до выхода «Альгамбрских сказок» он выпустил «Историю покорения Гренады». Эта книга принадлежит к распространенному в то время жанру исторических хроник. Повествование ведется от имени вымышленного циклизатора, монаха Антонио Агапида.

Не касаясь сложного и требующего особого исследования вопроса о близости «Легенды об арабском звездочете»

---

[9] Магический всадник из меди есть и в сказках «Тысячи и одной ночи», но там он имеет иное назначение (см. «Рассказ о носильщике и трех девушках»). Этим указанием я обязана акад. И. Ю. Крачковскому.

[10] Точнее: «удалившийся от дел завоеватель».

к испанскому фольклору и так называемым пограничным романсам,[11] отмечу только, что из этой хроники взяты главные персонажи «Легенды об арабском звездочете». Биография Абен-Габуза во многом повторяет биографию Мулей-Абен-Гассана, отца Боабдила, последнего мавританского короля. Звездочет — безымянный араб-волшебник, принимавший участие в защите Малаги. Готская принцесса — пленная христианская девушка, одна из жен короля Мулей-Абен-Гассана.

Знакомство Пушкина с «Альгамбрскими сказками» Ирвинга можно датировать 1833 годом.

К этому времени относится черновой набросок «Царь увидел пред собой...».[12] Первые десять строчек этого наброска, до сих пор не поддававшегося никакому комментарию, представляют собой, как нами установлено, стиховой «пересказ» куска «Легенды об арабском звездочете», не использованного Пушкиным в «Сказке о Золотом Петушке».

Приведу параллельные тексты:

Царь увидел пред собой
Столик с шахматной доской.
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
В стройный ряд расставил он.
Грозно куколки стоят,—
Подбоченясь на лошадках,
В коленкоровых перчатках,
В оперенных шишачках,
С палашами на плечах...

...Devant chacune de ces fenêtres était une table sur laquelle on avait rangé, comme des échecs, une petite armée, infanterie et cavalerie ... le tout sculpté en bois.

...Le roi... s'approcha de l'échiquier sur lequel les petites figures de bois étaient rangées et vit... qu'elles étaient toutes en mouvement. Les chevaux caracolaient et battaient du pied, les guerriers brandissaient leurs

---

[11] По сообщению проф. Мадридского Университета Азин-Палациоса источниками «Альгамбры» Ирвинга в Испании никто не занимался.

[12] В Пушкинских черновиках этот набросок находится между «Езерским» и началом перевода «Одиссеи» (тетрадь № 2374, л. 7). Впервые был напечатан под заглавием «Опыт детского стихотворения» (Русский Архив, 1881, III, стр. 473). Наиболее полный текст напечатан в Полн. собр. соч. А. С. Пушкина, М.—Л. 1931, т. II, стр. 257.

armes, on entendait ... le son des trompettes et des tambours...[13]

Эти фигурки — магические изображения вражеских войск, которые при прикосновении волшебного шила либо обращались в бегство, либо начинали вести междоусобную войну и уничтожали друг друга. И тогда та же участь постигала наступающего неприятеля.

Насколько близка фабула «простонародной» сказки Пушкина к легенде Ирвинга, становится ясным при параллельном сличении:

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве
Жил был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то-и-дело
Наносил обиды смело.
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить;

Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут бывало с юга, глядь —
Ан с востока лезет рать,
Справят здесь, — лихие гости

Il était une fois ... un roi maure, nommé Aben Habuz... C'était un cenquérant retiré des affaires, c'est-à-dire qu'après avoir, dans son jeune temps, mené une vie d'hostilités et de déprédations continuelles, maintenant qu'il devenait vieux et faible, il n'aspirait qu'à rester en paix avec tout le monde ... à jouir en repos des domaines qu'il avait enlevés à ses voisins.

Il advint cependant que ce monarque... eut à combattre de jeunes rivaux... Certaines parties éloignées de son territoire qui, dans les jeurs de sa vigueur première n'osaient broncher sous sa main de fer, s'avisèrent... de se révolter... Ainsi attaqué au dedans et au dehors, le malheureux Aben Habuz vivait ... dans des alarmes perpétuelles, ne sachant de quel côté commenceraient les hostilités.

---

[13] Привожу перевод этого отрывка: «...Перед каждым окном находился стол, на котором была расставлена, как шахматы, миниатюрная армия — пехота и кавалерия, вырезанные из дерева... Король... приблизился к шахматному столику, на котором были расставлены деревянные куколки, и увидел... что все они пришли в движение. Лошади гарцовали и били копытами, воины потрясали оружием, и слышался звук труб и барабанов».

В черновике Пушкина:
[Музыканты] на лошадках,
И [перед пешими],
И [копья дротики блестят]

Идут от моря — со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон,
Что и жизнь в такой тревоге!

Ce fut en vain qu'il bâtit des tours d'observation ... et qu'il fit garder tous les passages par des troupes stationnaires ... Fut-il jamais conquérant paisible et retiré plus tourmenté que le pauvre Aben Habuz?

Сходство ситуаций полное. «Биографии» царя Дадона и короля Абен-Габуза совпадают. Отмечу, что у героев других пушкинских сказок (Салтан, Елисей и др.) «биографии» отсутствуют.

Вот он с просьбой о помоге
Обратился к мудрецу
Звездочету и скопцу —
. . . .
Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
Посади ты эту птицу,
Молвил он царю, на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смирно,
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незванной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется,
И в то место обернется.
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит —
За такое одолженье,
Говорит он в восхищеньи,
Волю первую твою
Я исполню, как мою.

...un vieux médecin arabe vint à sa cour... En peu de temps il devint le conseiller intime du roi... Aben Habuz se plaignait... de la vigilance continuelle qu'il était forcé d'observer... l'astrologue lui répondit: «Apprends, ô roi, que ... je vis une grande merveille... Sur une montagne... on voyait la figure d'un bélier, sur lequel était un coq, l'un et l'autre en airain et tournant sur un pivot. Toutes les fois que le pays était menacé d'une invasion le bélier se tournait du côte de l'ennemi et le coq chantait, ce qui avertissait les habitants de la ville qu'ils étaient en danger et leur indiquait le point vers lequel devait se diriger leur défense».

«Dieu est grand!» s'écria... Aben Habuz. «Quel trésor serait pour moi un bélier semblable... et un coq qui m'avertirait en cas de danger... Combien je dormirais plus tranquille... dans mon palais, si de telles sentinelles veillaient sur mon sommeil!»... «Donne-moi cette bienheureuse sauvegarde, et dispose des richesses de mon trésor».

У Ирвинга о талисмане в виде медного петуха звездочет только рассказывает королю (сооружает же он медного всадника).

Принято считать, что в пушкинской сказке петух —

«живой». Однако, стих «Вдруг раздался легкий звон» (полет золотого петушка) как будто противоречит этому.

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы —
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит кири ку ку.
Царствуй лежа на боку!
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели.
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон.

Il insultait ses voisins pour les induire à l'attaquer; mais des malheurs réitérés les rendirent prudents et enfin aucun d'eux n'osa plus envahir son territoire.

У Ирвинга волшебные талисманы не раговаривают (медный петух, медный всадник). У Пушкина золотой петушок иронизирует над царем.

Год, другой проходят мирно,
Петушок сидит все смирно;
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден.
— Царь ты наш! Отец народа! —
Возглашает воевода,—
Государь! проснись, беда!
Что такое, господа?
Говорит Дадон, зевая,
А? Кто там? Беда какая?
Воевода говорит:
Петушок опять кричит,
Страх и шум во всей столице.
Царь к окошку, ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
Медлить нечего: скорее!
Люди, на конь! Эй живее!
Царь к востоку войско шлет...

Pendant plusieurs mois, la figure de bronze resta sur le pied de la paix...

Un matin de très bonne heure, la sentinelle qui montait la garde sur la tour vint avertir le roi que le visage du cavalier de bronze était tourné vers Elvira...

« Que les tambours et les trompettes sonnent l'alarme dans Grenade », dit le roi; « que chacun prenne les armes ».

Диалог царя с воеводой дан в плане гротеска. В сказке Ирвинга, несмотря на общий иронический тон повествования, аналогичный эпизод не имеет подобной окраски.

Дальше у Пушкина следует вставной эпизод с царскими сыновьями и поход царя, отсутствующие в легенде Ирвинга.

У Ирвинга воины короля отправляются в горы — место, указанное талисманом, где они не встречают ни одного неприятеля, но находят готскую принцессу. Они приводят ее к Абен-Габузу.

...а девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя, как заря,
Тихо встретила царя,
. . . .
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Дадон.

On amena donc au vieux roi cette belle personne... Des perles d'une éblouissante blancheur étaient entrelacéses dans ses tresses noires; les diamants qui brillaient sur son front rivalisaient d'éclat avec ses yeux... Les éclairs que lançaient ses yeux noirs et brillants tombèrent comme des étincelles sur le coeur d'Aben Habuz... Aben Habuz se livra sans résistance à sa passion.

У Пушкина ситуация гораздо сложнее, чем у Ирвинга. Царь влюбляется в Шамаханскую царицу над трупами своих сыновей.

Последнее и самое значительное совпадение мы видим в сцене расплаты:

— Помнишь? За мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.
Подари ж ты мне девицу,
Шамаханскую царицу...—
Крайне царь был изумлен.
— Что ты? — старцу
молвил он,—
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся.
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли кто я?
Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярской,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего.—
— Не хочу я ничего,
Подари ты мне девицу,
Шамаханскую царицу,—

[Король обещает звездочету первое вьючное животное с ношею, которое вступит в волшебные ворота. Этим животным оказывается мул, на котором едет принцесса].
«Voici», dit l'astrologue, «la récompense que vous m'avez promise». Aben Habuz sourit à ce qu'il croyait une plaisanterie du viellard; mais quand il vit qu'il parlait sérieusement, sa barbe grise trembla d'indignation. «Fils d'Abou Agib» dit-il d'un air très grave, «que veut dire cette équivoque? Tu sais que j'ai entendu promettre...

...Prends la plus forte mule de mes écuries; forme sa charge des objets les plus précieux de mon trésor, elle est à toi»... «Qu'ai-je à faire de ton or, de tes richesses?» dit l'astrologue, avec mépris. «La princesse m'appartient de droit; ta parole royale est engagée, je la réclame comme mon bien»... La rage du monarque l'emportant sur sa

Говорит мудрец в ответ.—
Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник,
мучишь—
Убирайся, цел пока;
Оттащите старика! —[14]

prudence, il s'écria: «Vil enfant du désert, tu peux être savant dans plus d'un art, mais reconnais que je suis ton maître; ne sois pas assez téméraire pour te jouer de ton roi». «Toi, mon maître!» reprit l'astrologue, «mon roi! Le souverain d'une taupinière voudrait donner des lois à celui qui possède le livre de Salomon. Adieu... régne sur ton petit royaume, et réjouis-toi dans ton paradis des fous...»

У Пушкина отказ звездочета от царских милостей и требование Шамаханской царицы ничем не мотивированы. В легенде Ирвинга звездочет—женолюб, и он отказывается от наград, предлагаемых королем, потому что владеет волшебной книгой царя Соломона.

Развязка «Сказки о Золотом Петушке» существенно отличается от источника. Когда Абен-Габуз не исполняет обещания, волшебный флюгер (медный всадник) только перестает предупреждать его о приближении опасности. В пушкинской же сказке талисман (золотой петушок) является

---

[14] Мне остается еще указать на те места в «Сказке о Золотом Петушке», которые ближе к легенде в рукописях, чем в печатной редакции:

[И поставь его ты мне]
[Где-нибудь на вышине] (белов.)

Sur une montagne qui domine une ville considerable... on voyait la figure d'un bélier sur lequel etait un coq...

Весь, [как] наморщен,
С бородою поседелой (черн.)
Весь [в морщинах],
как лебедь поседелый (белов.)

Une grande barbe lui descendait jusqu'à la ceinture... et ne put que perpétuer ses rides et ses cheveux gris.

Петушок слетел со спицы,
[С крыши] (?) к колеснице
(черн.)
Петушок [на кровле царской]
с высокой спицы
[сторожит] стал стеречь его
границы. (белов.)

Sur le sommet de la tour était une figure de bronze attachée sur un pivot...

орудием казни царя-клятвопреступника и убийцей.[15]

Пушкин как бы сплющил фабулу, заимствованную у Ирвинга,— некоторые звенья выпали и отсюда — фабульные невязки, та «неясность» сюжета, которая отмечена исследователями. Так, например, у Пушкина не перенесены «биографии» звездочета и принцессы.

В отличие от других простонародных сказок Пушкина, в «Сказке о Золотом Петушке» отсутствует традиционный сказочный герой, отсутствуют чудеса и превращения.

Очевидно, что в легенде Ирвинга Пушкина привлек не «Гарун-аль-Рашидовский стиль».

Все мотивировки изменены в сторону приближения к «натуралистичности».

Так, например, если у Ирвинга Абен-Габуз засыпает под звуки волшебной лиры, у Пушкина Дадон спит от лени. Междоусобие в горах в легенде мотивируется действием талисмана, в «Сказке о Золотом Петушке» причиной естественного характера — ревностью и т. д.

У Пушкина все персонажи снижены.

Дадон, как и Абен-Габуз, «отставной завоеватель», но «миролюбивый» король мавров кровожаден, а царь ленивый самодур. (Самое имя царя взято из «Сказки о Бове Королевиче», где Дадон — «злой» царь). В юношеской поэме Пушкина «Бова» Дадон — имя царя «тирана», которого Пушкин сравнивает с Наполеоном.

В сказке Ирвинга главные персонажи, король и звездочет,— пародийны, Пушкин же иронизирует только над царем, образ которого совершенно гротескный.

«Сказка о Золотом Петушке», включенная самим Пушкиным в цикл его «простонародных сказок»[16] (и обычно рассматриваемая в ряду других пушкинских сказок), носит на себе яркий отпечаток «простонародности».

Сличение черновика и белового автографа «Сказки о Зо-

---

[15] Следует отметить, что в «Сказке о царе Салтане» развязка тоже не совпадает с развязкой источника, и то, что царь на радостях прощает злых сестер, по замечанию Сумцова, черта «совсем чуждая народным вариантам».

[16] См. список на обороте последней страницы беловой рукописи.

лотом Петушке»[17] показывает, как Пушкин в процессе работы снижал лексику, приближая ее к просторечию.[18]

Приведем несколько примеров.

Царь к окошку — что ж на спице — (черн.)
Царь к окошку — ан на спице (оконч. ред.)

Что же? меж высоких гор
И промеж высоких гор

Ты [старик] мудрец с [о] ума сошел
[Видно] Или ты с ума рехнулся?

Вспыхнул царь. Так же нет
Плюнул царь: Так лих же нет!

Крикнул [Царь] и в то же время
Охнул раз — и умер он —

Жанром простонародной сказки мотивирован ввод элементов фольклора: «побитая рать, побоище», «Сорочинская шапка»,[19] «белый шатер», эпитет «Шамаханский» (в народных сказках обычно — «Шамаханский шелк»)[20] и др.

Из фольклора заимствован и традиционный зачин:

Негде в тридевятом царстве...

Бутафория народной сказки служит здесь для маскировки политического смысла.

Так в XVIII веке жанр «арабской» сказки часто служил ши-

---

[17] Черновая рукопись: «Тетрадь» № 2374 (Публ. библ. им. Ленина в Москве); беловой автограф находится в Публ. библ. им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Черновики до сих пор не были изучены. Пользуюсь транскрипциями, предоставленными мне С. М. Бонди, которому приношу благодарность.

[18] В 1832 году Н. М. Комовский писал Языкову: «Жуковский как сказочник обрился и приоделся на новый лад, а Пушкин в бороде и армяке». («Исторический Вестник». 1883. № 12, стр. 534.).

[19] «...В чистом поле стоит человек копьем подпершись, во белой епанче, шляпа на нем сорочинская, и стоячи дремлет» (сказка о Еруслане Лазаревиче); см. также строфу о «Римской папе» в черновике «Сказки о рыбаке и рыбке».

[20] «...Седлает того доброго коня... и подтягивает двенадцать подпруг шелку шамаханского...» (сказка о Иване Богатыре).

фром для политического памфлета или сатиры. Так Державин называет Сенат Диваном.

Ю. Н. Тынянов вскрыл двупланность семантической системы Пушкина: «на «Моцарта и Сальери» благодаря его семантической двупланности обиделся Катенин..., а «Пир во время чумы» написан во время эпидемии. Семантическая структура трагедии костюмов, данная на иноземном материале, была полна современным автобиографическим материалом».[21]

В «Сказке о Золотом Петушке» содержится ряд намеков памфлетного характера.[22] Но элементы «личной сатиры» зашифрованы с особой тщательностью. Это объясняется тем, что предметным адресатом был сам Николай I.

Ссора звездочета с царем имеет автобиографические черты.

В черновой и даже в беловой рукописях намеки совсем прозрачны.

В черновике:

> Но с [Ц а р я м и] плохо вздорить—

Тут же слово «царями» зачеркнуто и заменено «могучим»:

> Но с м о г у ч и м плохо вздорить—[23]

Однако в беловом списке Пушкин восстанавливает первую редакцию:

> Но с Ц а р я м и плохо вздорить;

В печатной редакции намек снова «зашифрован»:

> Но с и н ы м накладно вздорить;

Это в свою очередь вызвало изменение текста «нравоучи-

---

[21] Ю. Т ы н я н о в. Архаисты и новаторы. Стр. 269.

[22] Эти намеки, а также ироническое отношение к главному персонажу, Царю Дадону, вызвали предположение, что «Сказка о Золотом Петушке»—«затушеванная политическая сатира» (см.: 1) А. Пушкин. Сказки. М.—Л. 1930, ред., вступ. статья и объяснен. А. Слонимского, стр. 25-29 (изд. для детей); 2) А. С. Пушкин. Полное собр. соч. М.—Л. 1931, т. VI, стр. 331 (Путеводитель по Пушкину).

[23] Ср.: И новый царь, суровый и м о г у ч и й.

тельной» концовки. Эту концовку Пушкин перенес из «Сказки о мертвой царевне»:

Сказка ложь, да нам урок,
А иному и намек.

При таком сопоставлении намек получался чересчур уж ясным. Поэтому в окончательной редакции текст принял следующий вид:

Сказка ложь, да в ней намек:[24]
Добрым молодцам урок.

Тема «Сказки о Золотом Петушке» — неисполнение царского слова.

Царь, получив от звездочета волшебного петушка, обещает исполнить первую его волю:

За такое одолженье,
Говорит он в восхищеньи,
Волю первую твою
Я исполню, как мою.

А когда дошло до расплаты:

Что ты? — старцу молвил он:
Или бес в тебя ввернулся?
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал:
Но всему же есть граница.

В черновике гораздо резче:

[От] [от] [моих] [от] [царских] [слов]
[Отпереться я готов]

В черновике — звездочет требует исполнения данного царем обещания:

Царь! он молвил — [ты обещанье] дерзновенно
[Обещал] [ты клялся] [мне] [Обеща] [ты] [с] (?) [обещ] (?)
[Ты мне дал], [что] непременно

---

[24] Во всех изданиях Пушкина после слова «намек» стоит не двоеточие, как в беловой рукописи, а запятая (по записи в «дневнике» Пушкина) или знак восклицательный.

2) [волю] что первую мою
1) [ты] что исполнишь как свою
Так ли? шлюсь на всю столицу

Любопытная здесь ссылка звездочета на «всю столицу» (общественное мнение).

По первоначальному замыслу скопец, которого Дадон приказывает гнать, упрекает царя:

[Так то платишь]
[Молвил старичек]

В 1834 году Пушкин знал цену царскому слову.

IV

Положение, в котором оказался Пушкин в 1834 году, можно охарактеризовать следующей строкой из «Родословной моего героя»:[25]

Прощен и милостью окован.

К этому времени окончательно выяснилось, что первая царская милость — освобождение от цензуры, на деле привела к двойной цензуре — царской и общей.

После запрещения целого ряда произведений, 11 декабря 1833 года, Пушкину был возвращен «Медный Всадник» с замечаниями царя, которые заставили Пушкина расторгнуть договор со Смирдиным.

Другим проявлением царской милости было дарование Пушкину звания камер-юнкера двора его величества (31 декабря 1833 г.).

Можно считать установленным, что своего камер-юнкерства Пушкин не простил царю до самой смерти.[26]

История отношений Пушкина с двором после пожалования ему низшего придворного чина, а также ссора с царем в связи с перлюстрацией письма к жене достаточно освещены в целом ряде работ.

---

[25] 1833 г. осень.

[26] См. черновики статьи Пушкина о Вольтере (1836 г.), исследованные Ю. Г. Оксманом.

25 июня 1834 г. Пушкин отправил Бенкендорфу письмо с просьбой об отставке.

Прошению об отставке предшествовала перлюстрация письма Пушкина к жене (от 20—22 апреля).

Пушкин писал:

«...Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз, и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю: от добра добра не ищут. Посмотрим, как то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой, с моим тезкой я не ладил. Не дай Бог ему итти по моим следам, писать стихи, да ссориться с Царями!»

Здесь Пушкин несомненно вспоминал о своем стихотворении «Моя родословная» (1830 г.):

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин.[27]

Историю своих отношений с царями Пушкин связывает с темой о взаимоотношениях рода Пушкина с династией.

Письмо Пушкина было доставлено к царю, который не постыдился в том признаться и дал «ход интриге достойной Видока и Булгарина».

Свою запись в дневнике по этому поводу Пушкин заканчивает очень резким выпадом по адресу Николая: «...что ни говори, мудрено быть самодержавным».

Монарх подтвердил это мнение Пушкина, поручив Бенкендорфу «объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться...».

Бенкендорф «объяснил», и Пушкин взял обратно прошение об отставке:

---

[27] Ср. в «Сказке о Золотом Петушке»:
Но с царями плохо вздорить.

«...На днях хандра меня взяла, подал я в отставку, но получил... от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали» (письмо к жене, перв. пол. июня).

Обращаясь к Бенкендорфу с просьбой об отставке, Пушкин в то же время просит не запрещать ему вход в архивы.

То, что Пушкин в минуту наибольшего раздражения против царя все же просит о незапрещении доступа в архивы, доказывает, какое важное значение он этому придавал и каким ударом должен был быть для него отказ.

С начала 30-х гг. на своих исторических работах Пушкин намеревался построить не только свое материальное благополучие, но все отношения с царем и «высшим светом». Ни «Евгений Онегин», ни «Полтава», ни «Борис Годунов» не могли принести ему того общественного положения, без которого жизнь в Петербурге казалась ему неприемлемой.

Еще в 1831 году Пушкин писал Бенкендорфу:

«...Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина. Но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

И смел и желал.

Вспомним, с какой радостью сообщает он ближайшим друзьям, Нащокину и Плетневу, что царь разрешил ему доступ в архивы для написания «Истории Петра Великого».[28]

В биографии Пушкина этот вопрос имеет очень серьезное значение.

30-е годы для Пушкина — это эпоха поисков социального положения. С одной стороны, он пытается стать профессиональным литератором, с другой — осмыслить себя, как представителя родовой аристократии.

---

[28] Письмо к Плетневу (от 28 июля 1831 г.): «...Царь взял меня на службу, но не в канцелярскую или придворную, или военную,— нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли?». (Письмо к Нащокину от 3 сентября 1831 г.): «и... царь... взял меня в службу, т. е. дал мне жалование и позволил рыться в архивах для составления Истории Петра I. Дай Бог здравия Царю!»

4—584

Звание историографа должно было разрешить эти противоречия.

Для Пушкина это звание неотделимо было от образа Карамзина — советника царя и вельможи, достигшего высокого придворного положения своими историческими трудами.

Однако Николай I и его приближенные вовсе не предназначали Пушкина для такой высокой роли.

А. Н. Вульф в феврале 1834 г. записал в своем дневнике:

> «...Самого поэта я нашел... сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что он возвращается к оппозиции...»[29]

Эта запись представляет большой интерес, как сообщением о возвращении Пушкина к оппозиции, так и указанием на то, что Пушкин считал себя оскорбленным именно как автор «Истории Пугачева» и русских сказок.

Описывая в дневнике свою первую встречу с Николаем после пожалования придворного звания, Пушкин отмечает, что говорил с царем о Пугачеве (утверждал себя как историограф),[30] а за камер-юнкерство его не благодарил (что было ясным нарушением этикета).

После всего сказанного становится понятным, что категорический отказ на просьбу не закрывать архивы мог расцениваться Пушкиным, как жест «самовластного помещика», который хотел таким образом уничтожить все его планы.

Под знаком ссоры с царем прошло все лето 1834 года. Пушкин сдался, но примирение все же не состоялось.[31]

---

[29] Л. Майков. Пушкин. СПБ. 1899, стр. 208.

[30] Описывая свое представление вел. кн. Елене Павловне, Пушкин не забывает отметить: «...говорила со мной о Пугачеве».

[31] О ссоре с царем Пушкин упоминает еще два раза: 1) в письме к жене от 11 июля: «...на днях я чуть было беды не сделал: с тем чуть было не побранился — и трухнул то я, да и грустно стало.С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хоть и он не прав»; 2) в дневнике: «22 июля.— Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором — но все перемололось.— Однако это мне не пройдет».

25 августа, за 5 дней до открытия Александровской колонны, Пушкин покинул Петербург, «чтобы не присутствовать на церемонии вместе с камер-юнкерами».

Отъезд Пушкина из столицы, чуть не накануне торжества, несомненно, был демонстрацией.

Запись об этом, сделанная им в дневнике спустя три месяца, свидетельствует о том, что отношение Пушкина к своему положению не изменилось.

Находясь проездом в Москве (8 и 9 сентября), Пушкин в письме к А. И. Тургеневу с иронией отзывается о своей придворной карьере:

> ...Благодарен Полевому за его доброе расположение к историографу Пугачева, камер-юнкеру и проч.

13 сентября Пушкин приехал в Болдино, где он собирался писать.

Об этом он сообщает жене (от 15 сент.):

> ...Написать что-нибудь мне бы очень хотелось: не знаю придет ли вдохновение.

Но Болдинская осень 1834 г. была для Пушкина самой бесплодной.

Кроме «Сказки о Золотом Петушке» он ничего не написал.

Беловая рукопись помечена 20 сентября.

А 26 сентября А. Л. Языков, посетивший Пушкина в Болдине, писал:

> ...Он мне показывал историю Пугачева... несколько сказок в стихах, в роде Ершова, и историю рода Пушкиных.[32]

Можно предположить, что Языков был первым слушателем «Сказки о Золотом Петушке».

«Сказка о Золотом Петушке», встреченная молчанием критики, впервые была напечатана в апрельской книжке «Библиотеки для Чтения» 1835 г.

Пушкину не удалось избегнуть подозрения цензуры.

---

[32] «Исторический Вестник», 1883, т. XIV, стр. 539.

Цензор Никитенко не пропустил три строки.
Приведу запись из дневника Пушкина:

> Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:
>
> Царствуй, лежа на боку
> Сказка ложь да в ней намек,
> Добрым молодцам урок.
>
> Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова.

Здесь мы видим обычный выпад Пушкина против цензуры (а быть может, и желание сохранить эти строчки хотя бы в дневнике). Однако, столкновение с цензурой не было для Пушкина неожиданным.

Беловая рукопись носит следы предварительной «авторской» цензуры.

В следующем отрывке

Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку
Помолясь Илье пророку.

Последняя строка в печатной редакции приняла такой вид:

Сам не зная быть ли проку.

Изменена одна строка и в эпизоде ссоры звездочета с царем. Царь в ответ на требование звездочета говорит:

И зачем тебе девица?
Полно сводник, что ли, я?

Эту строку нельзя было представить ни в какую цензуру.
Окончательная редакция:

Полно, знаешь ли кто я?

Наконец, в строке, которая представляет собой как бы ключ ко второму смысловому плану «простонародной» сказки:

Но с царями плохо вздорить

слишком явный выпад заменен полунамеком:

> Но с иным накладно вздорить.

Так в письмах к жене (1834 года) Пушкин называет царя «тот».

V

Эпизод с царскими сыновьями, вставленный Пушкиным в фабулу, заимствованную у Ирвинга, разбивает «Сказку о Золотом Петушке» на три части. Первая часть — с начала до строки «Шум утих, и царь забылся». Вторая часть — до строки «Пировал у ней Дадон», третья — от «Наконец и в путь обратной» и до конца.

Мы уже видели, что смысловая двупланность сказки о ссоре царя с звездочетом может быть раскрыта только на фоне событий 1834 года.

Но первая часть сказки заставляет предполагать и другое.

Дело в том, что в облике царя подчеркнуты лень, бездеятельность, «желание охранять свои лавры» (см. «Легенду об арабском звездочете»). Далее черты эти совсем исчезают.

Пушкин никогда не считал Николая I ленивым и бездеятельным. Но черты эти он всегда приписывал Александру I: «Наше царское правило: дела не делай, от дела не бегай». (Воображаемый разговор с императором Александром I — 1822).

И много позднее, в 1830 г.:

> Властитель слабый и лукавый,
> Плешивый щеголь, враг труда.

Биография «отставного завоевателя»[33] Дадона вполне подходит к этому образу. Известно, что мистически настроенный Александр общался с масонами, а также прори-

[33] См. «К бюсту завоевателя». 1829.

цателями и ясновидцами,[34] и в конце жизни мечтал о том, чтобы удалиться на покой.

С молоду был грозен он
. . . .
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить;

Характеристика короля в «Легенде об арабском звездочете» — un conquérant retiré des affaires — могла поразить Пушкина как полное совпадение с его представлением об Александре I.

Смешение характерных черт двух царствований несомненно имело целью затруднить раскрытие политического смысла «Сказки о Золотом Петушке». Никто не стал бы искать в Дадоне — стареющем царе — «отставном завоевателе» — подчеркнуто «бодрого» и еще далеко не старого Николая I.

Состояние рукописи никак не противоречит нашему предположению. Черновик начала сказки (до строки: «Шлет к нему гонца с поклоном») не сохранился. Следующие шесть строк записаны на обороте обложки тетради (№ 2374) и датировке не поддаются.[35] Затем идут строки от «Петушок мой золотой» до «Царствуй лежа на боку». Они были написаны на листе пятнадцатом в той же тетради среди произведений 1833 года и через семь листов от наброска «Царь увидел пред собой», который по первоначальному замыслу, может быть, входил в «Сказку о Золотом Петушке». Зато несомненно относится к осени 1834 года черновая рукопись сказки от строки: «Целый год проходит мирно» и до конца.[36]

---

[34] Голицын, Татаринова, Крюденер и др. Накануне Аустерлицкого сражения Александр I имел продолжительную беседу со скопцом Кондратием Селивановым, который, как говорили в Петербурге, предсказал ему поражение.

[35] Нахождение этих строк на обложке тетради само по себе говорит за то, что вещь создавалась с перерывами.

[36] Она написана после стихотворения: «Он между нами жил», датированного 10 августа 1834.

Возможно предположить, что последняя сказка Пушкина написана не сразу. Пушкин неоднократно оставлял свои сказки незаконченными («Сказка об Илье-Муромце», «Как весенней теплою порою») или несколько раз возвращался к одному сюжету («Бова»). Часть «Сказки о Золотом Петушке» с начала до строки «Год, другой проходит мирно» могла быть написана до 1834 года и в замысел ее могла входить сатира на Александра I.

В черновиках звездочет все время называется шамаханским скопцом и шамаханским мудрецом.[37]

Шамаха в 1820 году была присоединена к России.

Поэтому месть шамаханского скопца царю-завоевателю, возможно, ассоциативными нитями связана с этим событием.

В 1834 году схема заполнилась «автобиографическим материалом».

Итак, в образе Дадона могли отразиться два царя, из которых один Пушкина «не жаловал», а другой — «под старость лет упек в камер-пажи».

20/III. 1931 — 20/I. 1933.

Звезда, 1933. №1

[37] В беловике видна попытка окончательно отделаться от Шамахи:

Распахнулся... и девица
[Черноброва, круглолица],
[Шамаханская Царица]

Последняя строка была заменена «Черноброва, круглолица», но затем снова восстановлена.

ТРОСТНИК

Я играю в них во всех пяти.
Б. П.

КЛЕВЕТА

И всюду клевета сопутствовала мне.
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я,—
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема тогда она войдет,
В моей крови ее неутоленный рот
Считать не устает небывшие обиды,
Вплетая голос свой в моленья панихиды.
И станет внятен всем ее постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,
Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

1922

\+ \+ \+

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?
Изумрудною стала вода замутненных каналов,

И крапива запахла, как розы, но только сильней.
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу
мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось — сейчас забелеет прозрачный
подснежник...
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

1922

\+ \+ \+

Хорошо здесь: и шелест и хруст;
С каждым утром сильнее мороз,
В белом пламени клонится куст
Ледяных ослепительных роз.
И на пышных парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких-то далеких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоем.

1922

ЛОТОВА ЖЕНА

Жена же Лотова оглянулась
позади его и стала соляным столпом.

Книга Бытия

И праведник шел за посланником бога,
Огромный и светлый, по черной горе.
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.

Взглянула — и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.

Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

1922—1924

МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что́ почести, что́ юность, что́ свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

1924

ХУДОЖНИКУ

Мне все твоя мерещится работа,
Твои благословенные труды:
Лип, навсегда осенних, позолота
И синь сегодня созданной воды.

Подумай, и тончайшая дремота
Уже ведет меня в твои сады,
Где, каждого пугаясь поворота,
В беспамятстве ищу твои следы.

Войду ли я под свод преображенный,
Твоей рукою в небо превращенный,
Чтоб остудился мой постылый жар?..

Там стану я блаженною навеки
И, раскаленные смежая веки,
Там снова обрету я слезный дар.

1924

\+ + +

Здесь Пушкина изгнанье началось
И Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час —
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.

Кисловодск
1927

\+ + +

Если плещется лунная жуть,
Город весь в ядовитом растворе.
Без малейшей надежды заснуть
Вижу я сквозь зеленую муть
И не детство мое, и не море,
И не бабочек брачный полет
Над грядой белоснежных нарциссов
В тот какой-то шестнадцатый год...
А застывший навек хоровод
Надмогильных твоих кипарисов.

1928

\+ + +

Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.

Все, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать —

Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал...
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.

И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый
Всходил со мною на крыльцо.

1929

\+ + +

И неоплаканною тенью
Я буду здесь блуждать в ночи,
Когда зацветшею сиренью
Играют звездные лучи.

1929 <?>

ДВУСТИШИЕ

От других мне хвала — что зола,
От тебя и хула — похвала.

1931

\+ \+ \+

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот,
А золото — ничем.
Водою пахнет резеда
И яблоком — любовь,
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...

1933

ПОСЛЕДНИЙ ТОСТ

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью,—
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.

1934

ПОЭТ
(БОРИС ПАСТЕРНАК)

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.

В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет,—это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.

И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец...
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец?

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф,—

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

19 января 1936

ВОРОНЕЖ

О. М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

1936

\+ \+ \+

Не прислал ли лебедя за мною,
Или лодку, или черный плот? —
Он в шестнадцатом году весною
Обещал, что скоро сам придет.
Он в шестнадцатом году весною
Говорил, что птицей прилечу
Через мрак и смерть к его покою,
Прикоснусь крылом к его плечу.
Мне его еще смеются очи
И теперь, шестнадцатой весной.
Что мне делать! Ангел полуночи
До зари беседует со мной.

Москва
1936

ЗАКЛИНАНИЕ

Из высоких ворот,
Из заохтенских болот,
Путем нехоженым,
Лугом некошеным,
Сквозь ночной кордон,
Под пасхальный звон,
Незваный,
Несуженый,—
Приди ко мне ужинать.

1936

ДАНТЕ

Il mio bel San Giovanni.
Dante

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть,—
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...

1936

\+ + +

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.

Я говорю: «Твое несу я бремя
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».
Но для нее не существует время,
И для нее пространства в мире нет.

И снова черный масленичный вечер,
Зловещий парк, неспешный бег коня.
И полный счастья и веселья ветер,
С небесных круч слетевший на меня.

А надо мной спокойный и двурогий
Стоит свидетель... о, туда, туда,
По древней подкапризовой дороге,
Где лебеди и мертвая вода.

1936

\+ + +

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву...
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
Только... ночью слышу скрипы.
Что там — в сумраках чужих?
Шереметевские липы...
Перекличка домовых...
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает

Черный шепоток беды —
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют?»

1936

\+ \+ \+

Годовщину последнюю празднуй —
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы — той, алмазной —
Повторяется снежная ночь.

Пар валит из-под царских конюшен,
Погружается Мойка во тьму,
Свет луны, как нарочно, притушен,
И куда мы идем — не пойму.

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.

В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях...
Чья с моею сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх.

И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом.
И внезапным согретый лучом
Снежный прах так тепло серебрится.

1939<?>

В СОРОКОВОМ ГОДУ

\+ + +

В молодости и в зрелых годах человек очень редко вспоминает свое детство. Он активный участник жизни, и ему не до того. И кажется, всегда так будет. Но где-то около 50-ти лет все начало жизни возвращается к нему. Этим объясняются некоторые мои стихи 1940 года («Ива», «Пятнадцатилетние руки...»), которые, как известно, вызвали неудовольствие Сталина и упреки в том, что я тянусь к прошлому. Если бы я родилась не в 89 г., а скажем, в 1910, меня бы никто не упрекал, что в 50-летнем возрасте я стала бы вспоминать Октябрьскую Революцию или Гражданскую войну.

ИВА

И дряхлый пук дерев.

Пушкин

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву.
И, благодарная, она жила
Со мной всю жизнь, плакучими ветвями
Бессонницу овеивала снами.
И — странно! — я ее пережила.
Там пень торчит, чужими голосами
Другие ивы что-то говорят
Под нашими, под теми небесами.
И я молчу... Как будто умер брат.

1940

ПОДВАЛ ПАМЯТИ

Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она всегда меня морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется — опять глухой обвал
За мной по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
Я знаю, что иду туда, к врагу.
И я прошу как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два живые изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

1940

КЛЕОПАТРА

Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.

Пушкин

Уже целовала Антония мертвые губы,
Уже на коленях пред Августом слезы лила...
И предали слуги. Грохочут победные трубы
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.
И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
«Тебя — как рабыню... в триумфе пошлет
пред собою...»
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.

А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете — еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

1940

МАЯКОВСКИЙ В 1913 ГОДУ

Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты,— разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
Одинок и часто недоволен,
С нетерпеньем торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

1940

\+ + +

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.

Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

1940

\+ + +

Уложила сыночка кудрявого
И пошла на озеро по воду,
Песни пела, была веселая,
Зачерпнула воды и слушаю:
Мне знакомый голос прислышался,
Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже.
Вот большие бьют у Егория,
А меньшие с башни Благовещенской,
Говорят они грозным голосом:

— Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола божьего.
Что же ты на земле замешкалась
И венец надеть не торопишься?
Распустился твой крин во полунощи,
И фата до пят тебе соткана.
Что ж печалишь ты брата-воина
И сестру — голубицу-схимницу,
Своего печалишь ребеночка...—
Как последнее слово услышала,
Света я пред собою невзвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.

март 1940

ПУТЕМ ВСЕЯ ЗЕМЛИ

ИЗ ПИСЬМА К***
(*вместо предисловия*)

В первой половине марта 1940 года на полях моих черновиков стали появляться ни с чем не связанные строки. Это в особенности относится к черновику стихотворения «Видение», которое я написала в ночь штурма Выборга и объявления перемирия.

Смысл этих строк казался мне тогда темным и, если хотите, даже странным, они довольно долго не обещали превратиться в нечто целое и как будто были обычными бродячими строчками, пока не пробил их час и они не попали в тот горн, откуда вышли такими, какими вы видите их здесь.

Осенью этого же года я написала еще 3 не лирические вещи, сначала хотела присоединить их к «Китежанке», написать книгу «Маленькие поэмы», но одна их них, «Поэма без героя», вырвалась, перестала быть маленькой, а главное, не терпит никакого соседства; две другие, «Россия Достоевского» и «Пятнадцатилетние руки», претерпели иную судьбу: они, по-видимому, погибли в осажденном Ленинграде, и то, что я восстановила по памяти уже здесь в Ташкенте, безнадежно фрагментарно. Поэтому «Китежанка» осталась в гордом одиночестве, как говорили наши отцы.

В санях сидя, отправляясь
путем всея земли...

Поучение
Владимира Мономаха детям

1

Прямо под ноги пулям,
Расталкивая года,
По январям и июлям
Я проберусь туда...

Никто не увидит ранку,
Крик не услышит мой,
Меня, китежанку,
Позвали домой.
И гнались за мною
Сто тысяч берез,
Стеклянной стеною
Струился мороз.
У давних пожарищ
Обугленный склад.
«Вот пропуск, товарищ,
Пустите назад...»
И воин спокойно
Отводит штык.
Как пышно и знойно
Тот остров возник!
И красная глина,
И яблочный сад...
О salve, Regina! —
Пылает закат.
Тропиночка круто
Взбиралась, дрожа.
Мне надо кому-то
Здесь руку пожать...
Но хриплой шарманки
Не слушаю стон.
Не тот китежанке
Послышался звон.

2

Окопы, окопы,—
Заблудишься тут!
От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города...
И вот уже Крыма
Темнеет гряда.
Я плакальщиц стаю

Веду за собой.
О, тихого края
Плащ голубой!..
Над мертвой медузой
Смущенно стою;
Здесь встретилась с Музой,
Ей клятву даю.
Но громко смеется,
Не верит: «Тебе ль?»
По капелькам льется
Душистый апрель.
И вот уже славы
Высокий порог,
Но голос лукавый
Предостерег:
«Сюда ты вернешься,
Вернешься не раз,
Но снова споткнешься
О крепкий алмаз.
Ты лучше бы мимо,
Ты лучше б назад,
Хулима, хвалима,
В отеческий сад».

3

Вечерней порою
Сгущается мгла.
Пусть Гофман со мною
Дойдет до угла.
Он знает, как гулок
Задушенный крик
И чей в переулок
Забрался двойник.
Ведь это не шутки,
Что двадцать пять лет
Мне видится жуткий
Один силуэт.
«Так, значит, направо?
Вот здесь, за углом?

Спасибо!» — Канава
И маленький дом.
Не знала, что месяц
Во всё посвящен.
С веревочных лестниц
Срывается он,
Спокойно обходит
Покинутый дом,
Где ночь на исходе
За круглым столом
Гляделась в обломок
Разбитых зеркал
И в груде потемок
Зарезанный спал.

4

Чистейшего звука
Высокая власть,
Как будто разлука
Натешилась всласть.
Знакомые зданья
Из смерти глядят —
И будет свиданье
Печальней стократ
Всего, что когда-то
Случилось со мной...
За новой утратой
Иду я домой.

5

Черемуха мимо
Прокралась, как сон,
И кто-то «Цусима!»
Сказал в телефон.
Скорее, скорее —
Кончается срок:
«Варяг» и «Кореец»

Пошли на восток...
Там ласточкой реет
Старая боль...
А дальше темнеет
Форт Шаброль,
Как прошлого века
Разрушенный склеп,
Где старый калека
Оглох и ослеп.
Суровы и хмуры,
Его сторожат
С винтовками буры.
«Назад, назад!!»

6

Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Ее приняла.
И в легкие сани
Спокойно сажусь...
Я к вам, китежане,
До ночи вернусь.
За древней стоянкой
Один переход...
Теперь с китежанкой
Никто не пойдет,
Ни брат, ни соседка,
Ни первый жених,—
Лишь хвойная ветка
Да солнечный стих,
Оброненный нищим
И поднятый мной...
В последнем жилище
Меня упокой.

Фонтанный Дом
Март 1940

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

М. Лозинскому

Почти от залетейской тени
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары,
Чтоб та, над временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена,—
Мне улыбалась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад...
И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград
Возникли, словно в книге этой
Из мглы магических зеркал,
И над задумчивою Летой
Тростник оживший зазвучал.

Май 1940

А. Платонов. Анна Ахматова

Голос этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности: в сборнике помещены стихи, подписанные последними годами. Мы не знаем причины такого обстоятельства, но знаем, что оправдать это обстоятельство ничем нельзя, потому что Анна Ахматова поэт высокого дара, потому что она создает стихотворения, многие из которых могут быть определены как поэтические шедевры, и задерживать или затруднять опубликование ее творчества нельзя ...

Необходимо прежде всего преодолеть одно заблуждение. Некоторые наши современники — литераторы и читатели — считают, что Ахматова не современна, что она архаична по тематике, что она слишком интимна и прочее — и что поэтому, стало быть, ее значение как поэта не велико, что

она не может иметь значения для революционных советских поколений новых людей ...

Подойдем к вопросу прямо и утилитарно. Воздействуют ли благотворно на душу советского читателя только те произведения искусства, в которых изображается конкретная современность, или благотворно и глубоко могут воздействовать и другие произведения искусства, хотя бы они современности не касались вовсе или касались её отвлеченно и косвено?

Вот ответ. Произведение, написанное высокоодаренным поэтом на большую тему современности, будет воздействовать на читателя гораздо больше, чем произведение, написанное столь же высококачественным поэтом на тему несовременную.

Это так, но это академическое решение вопроса. Практически надо рассудить таким образом: оказывают ли стихи Ахматовой этическое и эстетическое влияние на человека или нет? Или стихи поэта разрушают и деморализуют человека?

Ответ ясен. Не всякий поэт, пишущий на современные темы, может сравниться с Ахматовой по силе ее стихов, облагораживающих натуру человека, как не всякий верующий, непрерывно бормочущий молитвы, есть более святой, чем безмолвный. Ахматова способна из личного житейского опыта создавать музыку поэзии, важную для многих; некоторые же другие поэты способны великую поэтическую действительность трактовать как дидактическую прозу, в которой, несмотря на сильные звуки, нет обольщения современным миром и образ его лишь знаком и неизбежен, но не прекрасен.

Вообще же говоря, самая современная поэзия та, которая наиболее глубоким образом действует на сердце и сознание современного человека, совершенствуя это существо в смысле его исторического развития, а не та, которая ищет свои силы в современных темах, но не в состоянии превратить эти темы в поэзию; современники еще поймут усилия своих поэтов-сверстников, потому что для них сам изображаемый поэтами мир дорог и поэтичен (по многим причинам), но будущие читатели могут такую поэзию не оценить.

Но понятно, что высший поэт — это тот, кто находит

поэтическую форму для действительности в тот момент, когда действительность преобразуется, то есть поэт современных тем.

Однако не будем понимать современность вульгарно,— ведь мы все, работая на будущее, питаемся не только современностью. Нас воспитывали Пушкин, Бальзак, Толстой, Щедрин, Гоголь, Гейне, Моцарт, Бетховен и многие другие учителя и художники.

Ахматова сказала в своей книге:

О, есть неповторимые слова,
Кто их сказал — истратил слишком много.
Неистощима только синева
Небесная...

Будем же ценить поэта Ахматову за неповторимость ее прекрасных слов, потому что она, произнося их, тратит слишком много для нас, и будем неистощимы к ней в своей признательности.

Статья Андрея Платонова (1940 г.) печатается с сокращениями по тексту, опубликованному в сборнике «День поэзии», М., 1966 г.

Борис Пастернак. Письмо к А. А. Ахматовой

28 июля 1940

Дорогая Анна Андреевна!

Давно мысленно пишу Вам это письмо, давно поздравляю Вас с Вашим великим торжеством, о котором говорят кругом вот уже второй месяц.

У меня нет Вашей книги. Я брал ее на прочтение у Федина и не мог исчертить восклицательными знаками, но отметки вынесены у меня отдельно, и я перенесу их в свой экземпляр, когда достану книгу.

Когда она вышла, я лежал в больнице (у меня было воспаление спинного нерва), и я пропустил сенсацию, сопровождавшую ее появление. Но и туда дошли слухи об очере-

дях, растянувшихся за нею на две улицы, и о баснословных обстоятельствах ее распространенья. На днях у меня был Андрей Платонов, рассказавший, что драки за распроданное издание продолжаются и цена на подержанный экземпляр дошла до полутораста рублей.

Неудивительно, что, едва показавшись, Вы опять победили. Поразительно, что в период тупого оспаривания всего на свете Ваша победа так полна и неопровержима.

Ваше имя опять Ахматова в том самом смысле, в каком оно само составляло лучшую часть зарисованного Вами Петербурга. Оно с прежнею силой напоминает мне то время, когда я не смел бы поверить, что буду когда-нибудь знать Вас и иметь честь и счастье писать Вам. Нынешним летом оно снова значит все то, что значило тогда, да, кроме того, еще и что-то новое и чрезвычайно большое, что я наблюдал последнее время в отдельности, но чего еще не разу не видал в соединении с первым.

Это — соперничающее значение Вашего нового авторства в «Иве» и новейших вставках, Ваша нынешняя манера, еще слишком своезаконная и властная, чтобы казаться продолжением или видоизменением первой. Можно говорить о явлении нового художника, неожиданно поднявшегося в Вас рядом с Вами прежнею, так останавливает этот перевес абсолютного реализма над импрессионистической стихией, обращенной к впечатлительности, и совершенная независимость мысли от ритмического влиянья.

Способность Ваших первых книг воскрешать время, когда они выходили, еще усилилась. Снова убеждаешься, что кроме Блока *таким* красноречием частностей не владел никто, в отношении же Пушкинских начал Вы вообще единственное имя. Наверное я, Северянин и Маяковский обязаны Вам безмерно бóльшим, чем принято думать, и эта задолженность глубже любого нашего признанья, потому что она безотчетна. Как все это врезáлось в воображенье, повторялось и вызывало подражанья! Какие примеры изощренной живописности и мгновенной меткости!

Замечательно, что, когда рядом с ними натыкаешься на вещи более широкого действия и иной, дополнительной силы, они теперь кажутся позднейшими вставками, и присутствие Вашего нынешнего искусства начинаешь подозревать

там, где его нет, как, например, на стр. 199 и 202 (наряду со стихотворением на стр. 198, которое Вы читали у Фединых).

Выбор Ваш так совершенен, что предпочтенью уже нечего делать и подчеркивать приходится почти все подряд. Особенно изобилуют такими гнездами сплошных драгоценностей стихи из «Четок». Вот эти ряды: стр. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243. Именно к таким «гнездам» может относиться весь будущий мир «Поверх барьеров», атмосфера его зарожденья, т. е. все то, чего я лишь вскользь коснулся тут в словах о нашей задолженности, о магическом действии Вашей живописной силы и пр., и пр. Вот еще звездные скопленья: 249, 253, 256, 264, 265, 266, 267, 269, 271 и др.

Чтобы Вы знали, с кем, в отношении вкуса, Вы здесь имеете дело, скажу, что бегло, с налету и первого взгляда, *вершинами* в разных отношениях, показались мне: стр. 50, 69, 145, 174, 194, 198, и несущественно, какую роль тут играла знакомость одних и знаменитость других страниц.

Но я начинаю заговариваться, и Вам должно стать скучно. Позвольте, я прерву письмо, а то я боюсь, что никогда не отошлю его. Узнав, что я пишу Вам, Вам просили кланяться Софья Андреевна, Нина Александровна Табидзе, Константин Александрович Федин и Зина. Знаете ли Вы, что выпустили жену Бориса, Киру Георгиевну? Когда будете в Москве, непременно приезжайте к нам в Переделкино! Тут сущий рай. После упоминанья о больнице необходимо сказать, что я давно себя так замечательно не чувствовал, как этим летом.

Если бы Вы почтили меня открыткой, сообщите, пожалуйста, как Ваши дела и здоровье? С Вами ли уже Лев Николаевич? Нина Табидзе приехала сюда хлопотать за мужа.

Я думал, Вам будет приятно узнать, каким радостным событьем была для меня Ваша книга, написать Вам об этом было моей живейшей потребностью, но я сделал это так неудачно, что письмо Вам ничего не даст.

Вы должны догадываться, источником какой гордости являются для меня оба Ваших незаслуженных подарка, стихотворенье и эпиграф. Относительно последнего я не верил, несмотря на Ваши слова, пока не увидал. Тон Перцова возмутил нас всех, но тут думают (между прочим Толстой), что

кто-нибудь из настоящих писателей должен написать о Вас в журнале, а не в газете.

Ну до свиданья. Поцелую Вашу руку.

Еще раз горячее спасибо Вам от нас всех за это воплощенное чудо.

Ваш *Б. Пастернак.*

В письме Бориса Пастернака, вызванном выходом сборника «Из шести книг» (в котором в раздел «Ива» были включены некоторые из стихов Ахматовой 1930-х годов) упоминаются вдова Есенина — Софья Андреевна Толстая, вдова расстрелянного в 1937 году грузинского поэта Тициана Табидзе — Нина Александровна Табидзе, жена Пастернака — Зинаида Николаевна Нейгауз, вдова расстрелянного в 1938 году Бориса Пильняка — Кира Георгиевна Андроникашвили и находившийся в это время в заключении сын Ахматовой — Лев Николаевич Гумилев.

Статья В. Перцова «Читая Ахматову» была опубликована в «Литературной газете» 10 июля 1940 года, в ней среди прочего говорилось: «...Стихи Ахматовой написаны давно в трудное время буржуазного распада семьи... Очень неширок круг явлений жизни, освещенный в творчестве этого незаурядного мастера... Отношения любящих людей Ахматова изображает всегда в одном и том же разрезе — любовного самораспятья женщины...» и т. д.

В письме идет речь о ряде стихотворений Ахматовой: «Там тень моя осталась и тоскует...», «Да, я любила их, те сборища ночные...»; у Фединых, очевидно, Ахматова читала «Из памяти твоей я выну этот день...»; «гнездами драгоценностей» названы «Перо задело за верх экипажа...», «Звенела музыка в саду...», «Все мы бражники здесь, блудницы...», «После ветра и мороза было...», «Косноязычно славивший меня...», «...И на ступеньки встретить...», «Настоящую нежность не спутаешь...», «Столько просьб у любимой всегда...», «В последний раз мы встретились тогда...», «Здравствуй! Легкий шелест слышишь...», «Цветов и неживых вещей...», «Каждый день по новому тревожен...», «Он длится без конца — янтарный, тяжкий день!..», «Я научилась просто, мудро жить...»; «звездными скоплениями» — «Вижу выцветший флаг над таможней...», «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Меня покинул в новолунье...», «Со дня купальницы-Аграфены...», «Венеция» («Золотая голубятня у воды...»), «Протертый коврик под иконой...», «Гость» («Все как прежде, в окна столовой...»), «Я пришла к поэту в гости...», «В то время я гостила на земле...», и, наконец, «вершинами» названы «Не с теми я, кто бросил землю...», «Встреча» («Зажженых рано фонарей...»), «Чернеет дорога приморского сада...», «Ни в лодке, ни в телеге...», «Широк и желт вечерний свет...» и «Из памяти твоей я выну этот день...»

5—584

\+ + +

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

1940

ТРЕТИЙ ЗАЧАТЬЕВСКИЙ

Переулочек, переул...
Горло петелькой затянул.

Тянет свежесть с Москва-реки,
В окнах теплятся огоньки.

Покосился гнилой фонарь —
С колокольни идет звонарь...

Как по левой руке — пустырь,
А по правой руке — монастырь,

А напротив — высокий клен
Красным заревом обагрен,

А напротив — высокий клен
Ночью слушает долгий стон.

Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок,

Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток.

1940

\+ \+ \+

Соседка из жалости — два квартала,
Старухи, как водится,— до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.
И станет совсем один на свете
Над рыхлой, черной, родной землей
И громко спросит, но не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

1940. 15 августа

ИЗ ЦИКЛА «ЮНОСТЬ»

Мои молодые руки
Тот договор подписали
Среди цветочных киосков
И граммофонного треска,
Под взглядом косым и пьяным
Газовых фонарей.
И старше была я века
Ровно на десять лет.

А на закат наложен
Был белый траур черемух,
Что осыпался мелким,
Душистым, сухим дождем...
И облака сквозили
Кровавой цусимской пеной,
И плавно ландо катили
Теперешних мертвецов...

А нам бы тогдашний вечер
Показался бы маскарадом,
Показался бы карнавалом,
Феерией grand-gala...

От дома того — ни щепки,
Та вырублена аллея,
Давно опочили в музее
Те шляпы и башмачки.
Кто знает, как пусто небо
На месте упавшей башни,
Кто знает, как тихо в доме,
Куда не вернулся сын.

Ты неотступен, как совесть,
Как воздух, всегда со мною,
Зачем же зовешь к ответу?
Свидетелей знаю твоих:
То Павловского вокзала
Раскаленный музыкой купол
И водопад белогривый
У Баболовского дворца.

1940

\+ + +

Так отлетают темные души...
— Я буду бредить, а ты не слушай.

Зашел ты нечаянно, ненароком —
Ты никаким ведь не связан сроком,

Побудь же со мною теперь подольше.
Помнишь, мы были с тобою в Польше?

Первое утро в Варшаве... Кто ты?
Ты уж другой или третий? — «Сотый!»

— А голос совсем такой, как прежде.
Знаешь, я годы жила в надежде,

Что ты вернешься, и вот — не рада.
Мне ничего на земле не надо,

Ни громов Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый:

И Троя не пала, и жив Эабани,
И все потонуло в душистом тумане.

Я б задремала под ивой зеленой,
Да нет мне покоя от этого звона.

Что он? — то с гор возвращается стадо?
Только в лицо не дохнула прохлада.

Или идет священник с дарами?
А звезды на небе, а ночь над горами...

Или сзывают народ на вече?
— «Нет, это твой последний вечер!»

1940

В СОРОКОВОМ ГОДУ

1

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как время идет.

А после она выплывает,
Как труп на весенней реке,—
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.

Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

2. ЛОНДОНЦАМ

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать,—
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

3. ТЕНЬ

Что знает женщина одна о смертном часе?
О. Мандельштам

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет,
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда — ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.

О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя — красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили... А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!

4

Уж я ль не знала бессонницы
Все пропасти и тропы,
Но эта как топот конницы
Под вой одичалой трубы.
Вхожу в дома опустелые,
В недавний чей-то уют.
Все тихо, лишь тени белые
В чужих зеркалах плывут.
И что там в тумане — Дания,
Нормандия, или тут
Сама я бывала ранее,
И это — переиздание
Навек забытых минут?

5

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковою водой,
Ни колокольным звоном —
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.

1940

Борис Пастернак. Письмо к А. А. Ахматовой

1.XI.1940

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы хоть немного развеселить Вас и заинтересовать существованьем в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как Вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по какому-нибудь еще, а только по Вашему) Ваш долг перед живущими, потому что представления о жизни легко разрушаются и редко кем поддерживаются, а Вы их главный создатель.

Дорогой друг и недостижимый пример, все это я Вам должен был бы сказать тем серым днем августа, когда мы последний раз видались и Вы мне напомнили, как категорически Вы мне дороги. А между тем я пренебрегал возможностями встречи с Вами, уезжал на целые дни в Москву для встречи поезда для учащихся, шедшего вне графика и не по расписанью из Крыма, с Зиною и ее больным сыном, которого надо было устроить в больницу и даже *день* приезда которого был неизвестен. В скобках, для удовлетворенья естественного интереса, все обошлось благополучно и мальчик, проболев с месяц, теперь выздоровел.

Я не читаю газет, как Вы знаете. И вот последнее время, когда я спрашиваю, что на свете нового, я узнаю одну вещь радостную и одну грустную: англичане держатся, обижают Ахматову. О, если бы между этими новостями, мне одинаково близкими, мог существовать обмен веществ и сладость одной могла ослаблять горечь другой!

Я говорил Вам, Анна Андреевна, что мой отец и сестры с семьями в Оксфорде, и Вы представите себе мое состояние, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа. Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображенью воздушный бомбардировщик, и вдруг узнал, что они живы и здоровы...

Простите, что я так грубо и как маленькой привожу Вам примеры из домашней жизни в пользу того, что никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная хри-

стианка, Вы должны знать, однако знаете ли Вы, в какой цене *Ваша надежда* и как Вы должны беречь ее.

«Смирив души неукротимый ропот» и т. д.— в общей сложности 4 строки у меня записаны, но Вы не договорили тогда,— нас позвали к Фадееву. Книжку Вашу мне подарили в Гослитиздате. Если бы Вам пришла фантазия сделать мне надпись, пошлите мне ее в счастливую и легкую минуту,— я ее вклею. Однако Вы можете тут же забыть о сказанном, я Вас не буду теснить ожиданьем.

Два Ваших почитателя, муж и жена, просили меня переслать Вам письмо, я сообщил им Ваш адрес и отослал письмо обратно. В нем не было ничего дурного, но оно слишком лазурно и безоблачно для пересылки. Зная Вас и Вашу нынешнюю грусть и хмурость, я не вправе поддерживать то нереальное представление о поэте, которым дышит их обращенье, немного вневременное и внепространственное.

Это бедные люди, каких очень много, что именно в похвалу им, а не во осужденье, он сын ветеринарного врача, пробовал сам писать, его попытки свободны от той блестящей безвкусицы удачливости, которая так часто и быстро выводит на широкую дорогу, но недостаткам не хватает гения, чтобы стать достоинствами, и таким образом шероховатое его тяжелодумье остается при нем в качестве глубоко колоритной черты, просящейся под перо какого-нибудь нового Достоевского или Писемского. Это скромные и очень достойные люди, но зачем я на их счет так расписался?

Не считайте неуваженьем к себе, что я без всякого страха пишу Вам таким слогом, с такими помарками и такой вздор.

От всего сердца желаю Вам здоровья.

Ваш *Б. П.*

Стихотворение, которое цитирует Борис Пастернак, Ахматова впоследствии вспомнить не могла.

РАЗРЫВ

Не недели, не месяцы — годы
Расставались. И вот наконец
Холодок настоящей свободы
И седой над висками венец.
Больше нет ни измен, ни предательств,
И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

1940

\+ + +

И все, кого сердце мое не забудет,
Но кого нигде почему-то нет,
И страшные дети, которых не будет,
Которым не будет двадцать лет,
А было восемь, а девять было,
А было...— Довольно, не мучь себя.
И все, кого ты вправду любила,
Живыми останутся для тебя.

<1941?>

НАДПИСЬ НА КНИГЕ «ПОДОРОЖНИК»

Совсем не тот таинственный художник,
Избороздивший Гофмановы сны,—
Из той далекой и чужой весны
Мне чудится смиренный подорожник.

Он всюду рос, им город зеленел,
Он украшал широкие ступени,
И с факелом свободных песнопений
Психея возвращалась в мой придел.

А в глубине четвертого двора
Под деревом плясала детвора
В восторге от шарманки одноногой,

И била жизнь во все колокола...
А бешеная кровь меня к тебе вела
Сужденной всем, единственной дорогой.

1941

ЛЕНИНГРАД В МАРТЕ 1941 ГОДА

Cadran solaire на Меншиковом доме.
Подняв волну, проходит пароход.
О, есть ли что на свете мне знакомей,
Чем шпилей блеск и отблеск этих вод!
Как щелочка, чернеет переулок.
Садятся воробьи на провода.
У наизусть затверженных прогулок
Соленый привкус — тоже не беда.

1941

\+ \+ \+

Копай, моя лопата,
Звени, кирка моя.
Не пустим супостата
На мирные поля.

1941

Н. Н. Пунин. Из дневника

Вечер II ч. <25 сентября 1941 г.>

Днем зашел Гаршин и сообщил, что Ан. послезавтра улетает из Ленинграда. (А уже давно выехала отсюда и последнее время жила у Томашевского в писательском доме, где есть бомбоубежище. Она очень боится налетов, вообще всего). Сообщив это, Гаршин погладил меня по плечу, заплакал и сказал: «Ну вот, Н. Н., так кончается еще один период нашей жизни». Он был подавлен. Через него я передал Ан. записочку: «Привет, Аня, увидимся ли еще когда, или нет. Простите; будьте только спокойны. б. К.-М.»

Странно мне, что Аня так боится. Я так привык слышать от нее о смерти, об ее желании умереть. А теперь, когда умереть так легко и просто. Ну пускай летит. Долетела бы только.

Дневник Н. Н. Пунина за 1941 год хранится у Н. В. Казимировой, которой приносим благоданость за любезное позволение ознакомиться с ним.
Владимир Георгиевич Гаршин (1887—1956) — близкий друг Ахматовой, доктор медицинских наук.
Аббревиатура «б. К. М.» — по-видимому, расшифровывается как «бывший Катун Мальчик» (домашнее прозвище Н. Н. Пунина).

Н. Н. Пунин. Из дневника

15 октября <1941 г.>

Вчера на имя А. А. пришла открытка из Москвы от <Н. А.> Павлович с известием, что Марина Цветаева покончила с жизнью.

Н. Н. Пунин. Из письма к А. А. Ахматовой

14 апреля 42
Самарканд, больница

Здравствуйте, Аня.

Бесконечно благодарен за Ваше внимание и растроган;

и это не заслужено. Все еще в больнице не столько потому что болен, сколько оттого, что здесь лучше, чем на воле... Есть мягкая кровать и кормят, хотя и неважно, но даром. И спокойно. Я еще не вполне окреп, но все же чувствую себя живым и так радуюсь солнечным дням и тихо развивающейся весне. Смотрю и думаю: я живой. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние, и я называю это — чувством счастья. Впрочем, когда я умирал, то есть знал, что я непременно умру — это было на Петровском острове у Голубевых, куда на время переселился, потому что там, как мне казалось, единственная в Ленинграде теплая комната — я тоже чувствовал этот восторг и счастье. Тогда я думал о Вас много. Думал, потому что в том напряжении души, которое я тогда испытывал, было нечто — как я уже писал Вам в записочке — похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с Вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял Вас — именно потому, что это было совершенно бескорыстно, так как увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было действительно предсмертное с Вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей — и это мне казалось особенно ценным — а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит. Теперь этого не написать, т. е. всего того, что я тогда думал, но многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным. Вы знаете, многие осуждают Вас за Леву, но тогда мне было так ясно, что Вы сделали мудро и, безусловно, лучшее из того, что могли выбрать (я говорю о Бежецке), и Лева не был бы тем, что он есть, не будь у него бежецкого детства. Я и о Леве тогда много думал, но об этом как-нибудь в другой раз — я виноват перед ним.

В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки. Все это, я помню, наполнило меня тогда радостью и каким-то совсем не обычным, не сентиментальным умилением, созер-

цательным, словно я стоял перед входом в Рай (вообще тогда много было от «Божественной Комедии»). И радовался я не столько за Вас, сколько за Мироздание, потому что от всего этого я почувствовал, что нет личного бессмертия, а есть бессмертное. Это чувство было особенно сильным. Умирать было не страшно, и я не имел никаких претензий персонально жить или сохраниться после смерти. Почему-то я совсем не был в этом заинтересован; но что есть Бессмертное и я в нем окажусь — это было так прекрасно и так торжественно. Вы казались мне тогда — и сейчас тоже — высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни. В больнице мне удалось перечитать «Бесов». Достоевский, как всегда, мне тяжел и совсем не для меня, но в конце романа, как золотая заря среди страшного и неправдоподобного мрака, такие слова: «Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и — славой,— о, кто бы ни был, что бы ни сделал, человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего» и т. д. Эти слова почти совершенное выражение того, что я тогда чувствовал. Именно — «и славой» — именно «спокойное счастье». Вы и были тогда выражением «спокойного счастья славы». Умирая, я к нему приближался.

Но я остался жить, и сохранил само то чувство и память о нем. Я так боюсь его теперь потерять и забыть и делаю усилия, чтобы этого не случилось со мной в жизни: Вы знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызовом судьбе, терял лучшее, что она, судьба, мне давала. Солнце, которое я так люблю после ледяного ленинградского ада, поддерживает меня и мне легко беречь перед этой солнечной славой это чувство бессмертного. И я счастлив.

Мне хорошо здесь, и в больнице хорошо, рука почти зажила — Вы видите, я пишу своим почерком — правда, много забот, как устроиться, как прокормиться, но они не поглощают меня так, как это было раньше. И мне не жаль брошенного, кроме некоторых вещей, которые я просто из-за спешки забыл взять.

В вагоне, когда я заболел, мне почему-то вспомнился Хлебников, и я воспринял его, как самый чистый голос моего времени, по отношению к которому Маяковский что-то одностороннее, частный случай. Вы — не частный случай, но почему-то я не мог соотнести Вас с Хлебниковым, и это до сих пор мне не понятно.

Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас видеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и еще больше, когда узнал, что на другой день Вы снова были на вокзале...

Письмо Н. Н. Пунина воспроизводится по тексту, опубликованному в: Наше наследие, 1988, № 4. Голубевы — семья подруги Пунина Марты Андреевны Голубевой: ее родители, актеры А. А. Голубев и Е. М. Мунт, и ее дочь Ника Валентиновна Казимирова.

СЕДЬМАЯ КНИГА

Пала седьмая завеса тумана,—
Та, за которой приходит весна.

Т. К.

ТАЙНЫ РЕМЕСЛА

1. ТВОРЧЕСТВО

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки,—
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

1936

2

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

1940

3. МУЗА

Как и жить мне с этой обузой,
А еще называют Музой,
Говорят: «Ты с ней на лугу...»
Говорят: «Божественный лепет...»
Жестче, чем лихорадка, оттрепет,
И опять весь год ни гу-гу.

1959<?>

4. ПОЭТ

Подумаешь, тоже работа,—
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.

И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.

А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.

Налево беру и направо
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой
И все — у ночной тишины.

1959

5. ЧИТАТЕЛЬ

Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытным. О нет! —
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта холодное пламя
Его заклеймило чело.

А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.
Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят.

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной...
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейшей зной.

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

1959

6. ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Одно, словно кем-то встревоженный гром,
С дыханием жизни врывается в дом,
Смеется, у горла трепещет,
И кружится, и рукоплещет.

Другое, в полночной родясь тишине,
Не знаю откуда крадется ко мне,
Из зеркала смотрит пустого
И что-то бормочет сурово.

А есть и такие: средь белого дня,
Как будто почти что не видя меня,
Струится по белой бумаге,
Как чистый источник в овраге.

А вот еще: тайное бродит вокруг —
Не звук и не цвет, не цвет и не звук,—
Гранится, меняется, вьется,
А в руки живым не дается.

Но это!... по капельке выпило кровь,
Как в юности злая девчонка — любовь,
И, мне не сказавши ни слова,
Безмолвием сделалось снова.

И я не знавала жесточе беды.
Ушло, и его протянулись следы
К какому-то крайнему краю,
А я без него... умираю.

1959

7. ЭПИГРАММА

Могла ли Биче словно Дант творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, боже, как их замолчать заставить!

1958

8. ПРО СТИХИ

Владимиру Нарбуту

Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар,
Это — сотен белых звонниц
Первый утренний удар...
Это — теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это — пчелы, это — донник,
Это — пыль, и мрак, и зной.

1940

9

Многое еще, наверно, хочет
Быть воспетым голосом моим:
То, что, бессловесное, грохочет,

Иль во тьме подземный камень точит,
Или пробивается сквозь дым.
У меня не выяснены счеты
С пламенем, и ветром, и водой...
Оттого-то мне мои дремоты
Вдруг такие распахнут ворота
И ведут за утренней звездой.

1942

\+ + +

А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других,—
Когда уже совсем неинтересны
Герой и героиня, и прошло
Так много лет, что никого не жалко,
И, кажется, сам автор
Уже начало повести забыл,
И даже «вечность поседела»,
Как сказано в одной прекрасной книге,
Но вот сейчас, сейчас
Все кончится, и автор снова будет
Бесповоротно одинок, а он
Еще старается быть остроумным
Или язвит,— прости его господь! —
Прилаживая пышную концовку,
Такую, например:
...И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И, говорят, когда лучи луны —
Зеленой, низкой, среднеазиатской —
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то легкий звук,

Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И, говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.

Ташкент
1943

ПУШКИН

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?

1943

\+ \+ \+

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.

1944

ВЕТЕР ВОЙНЫ

КЛЯТВА

И та, что сегодня прощается с милым,—
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

Ленинград
Июль 1941

\+ + +

Важно с девочками простились,
На ходу целовали мать,
Во все новое нарядились,
Как в солдатики шли играть.
Ни плохих, ни хороших, ни средних...
Все они по своим местам,
Где ни первых нет, ни последних...
Все они опочили там.

1943

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНОБОЙНЫЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг.
Но это был не городской,
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков

И вожделение лугов —
Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить — по тому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.

1941

\+ \+ \+

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!» —
До седьмого доходят неба...

Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон — смерть.

Сентябрь 1941

МУЖЕСТВО

Мы знаем, чтó ныне лежит на весах
И чтó совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,—
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Февраль 1942

1

Щели в саду вырыты,
Не горят огни,
Питерские сироты,
Детоньки мои!
Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.

2

Постучись кулачком — я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда...
Твоего я не слышала стона.
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

1942

NOX

СТАТУЯ «НОЧЬ» В ЛЕТНЕМ САДУ

Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой...
Доченька!
Как мы тебя укрывали
Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви...
Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

1942

ПОБЕДИТЕЛЯМ

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья!

1944

\+ + +

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена! — захлопываем святцы:
И на колени все! — Багровый хлынул свет;
Рядами стройными проходят ленинградцы,
Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет.

1942

\+ + +

Справа раскинулись пустыри
С древней, как мир, полоской зари,

Слева, как виселицы, фонари.
Раз, два, три...

А надо всем еще галочий крик
И помертвелого месяца лик
Совсем ни к чему возник.

Это — из жизни не той и не той,
Это — когда будет век золотой,

Это — когда окончится бой,
Это — когда я встречусь с тобой.

Ташкент
1944

ПОБЕДА

1

Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родные березы
Тянут ветки, и ждут, и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сомкнутым строем идут.

2

Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча,—
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.

3

Победа у наших стоит дверей...
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей,—
Так мы долгожданной ответим.

1942—1945

ПАМЯТИ ДРУГА

И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

1945

ЛУНА В ЗЕНИТЕ

1

Заснуть огорченной,
Проснуться влюбленной,
Увидеть, как красен мак.
Какая-то сила
Сегодня входила
В твое святилище, мрак!
Мангалочий дворик,
Как дым твой горек
И как твой тополь высок...
Шехерезада
Идет из сада...
Так вот ты какой, Восток!

2

С грозных ли площадей Ленинграда
Иль с блаженных летейских полей
Ты прислал мне такую прохладу,
Тополями украсил ограды
И азийских светил мириады
Расстелил над печалью моей?

3

Все опять возвратится ко мне:
Раскаленная ночь и томленье
(Словно Азия бредит во сне),
Халимы соловьиное пенье,
И библейских нарциссов цветенье,
И незримое благословенье
Ветерком шелестнет по стране.

4

И в памяти, словно в узорной укладке:
Седая улыбка всезнающих уст,
Могильной чалмы благородные складки
И царственный карлик — гранатовый куст.

5

Третью весну встречаю вдали
От Ленинграда.
Третью? И кажется мне, она
Будет последней.
Но не забуду я никогда,
До часа смерти,
Как был отраден мне звук воды
В тени древесной.

Персик зацвел, а фиалок дым
Все благовонней.
Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине?!

6

Я не была здесь лет семьсот,
Но ничего не изменилось...
Все так же льется Божья милость
С непререкаемых высот,

Все те же хоры звезд и вод,
Все так же своды неба черны,
И так же ветер носит зерна,
И ту же песню мать поет.

Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоем.

7. ЯВЛЕНИЕ ЛУНЫ

А. Козловскому

Из перламутра и агата,
Из задымленного стекла,
Так неожиданно покато
И так торжественно плыла,—
Как будто «Лунная соната»
Нам сразу путь пересекла.

8

Как в трапезной — скамейки, стол, окно
С огромною серебряной луною.
Мы кофе пьем и черное вино,
Мы музыкою бредим...
Все равно...
И зацветает ветка над стеною.
И в этом сладость острая была,
Неповторимая, пожалуй, сладость.
Бессмертных роз, сухого винограда
Нам родина пристанище дала.

Ташкент
1942—1944

ЕЩЕ ОДНО ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Все небо в рыжих голубях,
Решетки в окнах — дух гарема...
Как почка, набухает тема.
Мне не уехать без тебя —
Беглянка, беженка, поэма.

Но, верно, вспомню на лету,
Как запылал Ташкент в цвету,
Весь белым пламенем объят,
Горяч, пахуч, замысловат,
Невероятен...

Так было в том году проклятом,
Когда опять мамзель Фифи
Хамила, как в семидесятом.
А мне переводить Лютфи
Под огнедышащим закатом.

И яблони, прости их Боже,
Как от венца, в любовной дрожи.

Арык на местном языке,
Сегодня пущенный, лепечет.
А я дописываю «Нечет»,
Опять в предпесенной тоске.

До середины мне видна
Моя поэма. В ней прохладно,
Как в доме, где душистый мрак
И окна заперты от зноя,
И где пока что нет героя,
Но кровлю кровью залил мак.

1943
Ташкент

СМЕРТЬ

I

Я была на краю чего-то,
Чему верного нет названья...
Зазывающая дремота,
От себя самой ускользанье...

II

А я уже стою на подступах к чему-то,
Что достается всем, но разною ценой...
На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной.

Дюрмень
1942

6—584

III

И комната, в которой я болею,
В последний раз болею на земле,
Как будто упирается в аллею
Высоких белоствольных тополей.
А этот первый — этот самый главный,
В величии своем самодержавный,
Но как заплещет, возликует он,
Когда, минуя тусклое оконце,
Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце,
И смертный уничтожит сон.

Январь 1944. Ташкент

\+ \+ \+

Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни
На краешке окна, и духота кругом,
Когда закрыта дверь, и заколдован дом
Воздушной веткой голубых глициний,
И в чашке глиняной холодная вода,
И полотенца снег, и свечка восковая
Горит, как в детстве, мотыльков сзывая,
Грохочет тишина, моих не слыша слов,—
Тогда из черноты рембрандтовских углов
Склубится что-то вдруг и спрячется туда же,
Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже...
Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.

Ташкент
1944

\+ + +

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное,
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

1945

ТАШКЕНТ ЗАЦВЕТАЕТ

Словно по чьему-то повеленью,
Сразу стало в городе светло —
Это в каждый двор по привиденью
Белому и легкому вошло.
И дыханье их понятней слова,
А подобье их обречено
Среди неба жгуче-голубого
На арычное ложиться дно.

Я буду помнить звездный кров
В сиянье вечных слав
И маленьких баранчуков
У чернокосых матерей
На молодых руках.

1944

С САМОЛЕТА

1

На сотни верст, на сотни миль,
На сотни километров
Лежала соль, шумел ковыль,
Чернели рощи кедров.
Как в первый раз я на нее,
На Родину, глядела.
Я знала: это все мое —
Душа моя и тело.

2

Белым камнем тот день отмечу,
Когда я о победе пела,
Когда я победе навстречу,
Обгоняя солнце, летела.

3

И весеннего аэродрома
Шелестит под ногой трава.
Дóма, дóма — ужели дома!
Как все ново и как знакомо,
И такая в сердце истома,
Сладко кружится голова...
В свежем грохоте майского грома —
Победительница Москва!

Май 1944

НОВОСЕЛЬЕ

1. ХОЗЯЙКА

Е. С. Булгаковой

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне полнолунья,
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

1943

2. ГОСТИ

«...ты пьян,
И все равно пора нах хауз...»
Состарившийся Дон-Жуан
И вновь помолодевший Фауст
Столкнулись у моих дверей —
Из кабака и со свиданья!..
Иль это было лишь ветвей
Под черным ветром колыханье,
Зеленой магией лучей,
Как ядом, залитых, и все же —
На двух знакомых мне людей
До отвращения похожих?

1943

3. ИЗМЕНА

Не оттого, что зеркало разбилось,
Не оттого, что ветер выл в трубе,
Не оттого, что в мысли о тебе
Уже чужое что-то просочилось,—
Не оттого, совсем не оттого
Я на пороге встретила его.

1944

4. ВСТРЕЧА

Как будто страшной песенки
Веселенький припев —
Идет по шаткой лесенке,
    Разлуку одолев.
Не я к нему, а он ко мне —
И голуби в окне...
И двор в плюще, и ты в плаще
    По слову моему.
Не он ко мне, а я к нему —
    во тьму,
        во тьму,
            во тьму.

Ташкент
1943

ВЕРЕНИЦА ЧЕТВЕРОСТИШИЙ

1

Что войны, что чума? — конец им виден скорый,
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?

1961

2

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

1946

3. К СТИХАМ

Вы так вели по бездорожью,
Как в мрак падучая звезда.
Вы были горечью и ложью,
А утешеньем — никогда.

4. КОНЕЦ ДЕМОНА

Словно Врубель наш вдохновенный,
Лунный луч тот профиль чертил.
И поведал ветер блаженный
То, что Лермонтов утаил.

1961

5

И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной...
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной.

1962

6

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

1962

7

Взоры огненней огня
И усмешка Леля...
Не обманывай меня,
Первое апреля!

1963

8

...И на этом сквозняке
Исчезают мысли, чувства...
Даже вечное искусство
Нынче как-то налегке!

9

И скупо оно и богато,
То сердце... Богатство таи!
Чего ж ты молчишь виновато?
Глаза б не глядели мои!

Десятые годы

10. ИМЯ

Татарское, дремучее
Пришло из никуда,
К любой беде липучее,
Само оно — беда.

1958

11

И слава лебедью плыла
Сквозь золотистый дым.
А ты, любовь, всегда была
Отчаяньем моим.

ТРИ ОСЕНИ

Мне летние просто невнятны улыбки,
И тайны в зиме не найду,
Но я наблюдала почти без ошибки
Три осени в каждом году.

И первая — праздничный беспорядок
Вчерашнему лету назло,

И листья летят, словно клочья тетрадок,
И запах дымка так ладанно-сладок,
Все влажно, пестро и светло.

И первыми в танец вступают березы,
Накинув сквозной убор,
Стряхнув второпях мимолетные слезы
На соседку через забор.

Но эта бывает — чуть начата повесть.
Секунда, минута — и вот
Приходит вторая, бесстрастна, как совесть,
Мрачна, как воздушный налет.

Все кажутся сразу бледнее и старше,
Разграблен летний уют,
И труб золотых отдаленные марши
В пахучем тумане плывут...

И в волнах холодных его фимиама
Сокрыта высокая твердь,
Но ветер рванул, распахнулось — и прямо
Всем стало понятно: кончается драма,
И это не третья осень, а смерть.

1943

НА СМОЛЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ

А все, кого я на земле застала,
Вы, века прошлого дряхлеющий посев!
. . . .
Вот здесь кончалось все: обеды у Донона,
Интриги и чины, балет, текущий счет...
На ветхом цоколе — дворянская корона
И ржавый ангелок сухие слезы льет.

Восток еще лежал непознанным пространством
И громыхал вдали, как грозный вражий стан,
А с Запада несло викторианским чванством,
Летели конфетти, и подвывал канкан...

Дюрмень
1942

ПОД КОЛОМНОЙ

Шервинским

...Где на четырех высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись, где в поле мятный запах,
И гуляют маки в красных шляпах,
И течет московская река,—
Все бревенчато, дощато, гнуто...
Полноценно цедится минута
На часах песочных. Этот сад
Всех садов и всех лесов дремучей,
И над ним, как над бездонной кручей,
Солнца древнего из сизой тучи
Пристален и нежен долгий взгляд.

1943

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА

Нет, я не выплакала их.
Они внутри скипелись сами.
И все проходит пред глазами
Давно без них, всегда без них.

Без них меня томит и душит
Обиды и разлуки боль.
Проникла в кровь — трезвит и сушит
Их всесжигающая соль.

Но мнится мне: в сорок четвертом,
И не в июня ль первый день,
Как на шелку возникла стертом
Твоя страдальческая тень.

Еще на всем печать лежала
Великих бед, недавних гроз,—
И я свой город увидала
Сквозь радугу последних слез.

Ленинград
1946

ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

У меня одна дорога:
От окна и до порога.

Песня

День шел за днем — и то и се
Как будто бы происходило
Обыкновенно — но чрез все
Уж одиночество сквозило.
Припахивало табаком,
Мышами, сундуком открытым
И обступало ядовитым
Туманцем...

1944

НАДПИСЬ НА ПОРТРЕТЕ

Т. Вечесловой

Дымное исчадье полнолунья,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камей.

От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.

1946

CINQUE

Autant que toi sans doute, il te sera fidèle
Et constant jusqu' à la mort.

Baudelaire

1

Как у облака на краю,
Вспоминаю я речь твою,

А тебе от речи моей
Стали ночи светлее дней.

Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.

Ни отчаянья, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.

Но живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову.

И ту дверь, что ты приоткрыл,
Мне захлопнуть не хватит сил.

26 ноября 1945

2

Истлевают звуки в эфире,
И заря притворилась тьмой.
В навсегда онемевшем мире
Два лишь голоса: твой и мой.
И под ветер с незримых Ладог,
Сквозь почти колокольный звон,
В легкий блеск перекрестных радуг
Разговор ночной превращен.

20 декабря 1945

3

Я не любила с давних дней,
Чтобы меня жалели,
А с каплей жалости твоей
Иду, как с солнцем в теле.
Вот отчего вокруг заря.
Иду я, чудеса творя,
Вот отчего!

20 декабря 1945

4

Знаешь сам, что не стану славить
Нашей встречи горчайший день.
Что тебе на память оставить,
Тень мою? На что тебе тень?
Посвященье сожженной драмы,
От которой и пепла нет,
Или вышедший вдруг из рамы
Новогодний страшный портрет?

Или слышимый еле-еле
Звон березовых угольков,
Или то, что мне не успели
Досказать про чужую любовь?

6 января 1946

5

Не дышали мы сонными маками,
И своей мы не знаем вины.
Под какими же звездными знаками
Мы на горе себе рождены?
И какое кромешное варево
Поднесла нам январская тьма?
И какое незримое зарево
Нас до света сводило с ума?

11 января 1946

ШИПОВНИК ЦВЕТЕТ

Из сожженой тетради

And thou art distant in humanity
Keats

Вместо праздничного поздравленья
Этот вечер, жесткий и сухой,
Принесет вам только запах тленья,
Привкус дыма и стихотворенья,
Что моей написаны рукой.

1961

1. СОЖЖЕННАЯ ТЕТРАДЬ

Уже красуется на книжной полке
Твоя благополучная сестра,
А над тобою звездных стай осколки
И под тобою угольки костра.
Как ты молила, как ты жить хотела,
Как ты боялась едкого огня!
Но вдруг твое затрепетало тело,
А голос, улетая, клял меня.
И сразу же зашелестели сосны
И отразились в недрах лунных вод.
А вкруг костра священнейшие весны
Уже вели надгробный хоровод.

1961

2. НАЯВУ

И время прочь, и пространство прочь,
Я все разглядела сквозь белую ночь:
И нарцисс в хрустале у тебя на столе,
И сигареты синий дымок,
И то зеркало, где, как в чистой воде,
Ты сейчас отразиться мог.
И время прочь, и пространство прочь...
Но и ты мне не можешь помочь.

1946

3. ВО СНЕ

Черную и прочную разлуку
Я несу с тобою наравне.
Что ж ты плачешь? Дай мне лучше руку,
Обещай опять прийти во сне.

Мне с тобою как горе с горою...
Мне с тобой на свете встречи нет.
Только б ты полночною порою
Через звезды мне прислал привет.

1946

4. ПЕРВАЯ ПЕСЕНКА

Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слезы рады,
Что можно долго течь.
Шиповник Подмосковья,
Увы! при чем-то тут...
И это всё любовью
Бессмертной назовут.

1956

5. ДРУГАЯ ПЕСЕНКА

Несказанные речи
Я больше не твержу,
Но в память той невстречи
Шиповник посажу.

Как сияло там и пело
Нашей встречи чудо,
Я вернуться не хотела
Никуда оттуда.

Горькой было мне усладой
Счастье вместо долга,
Говорила с кем не надо,
Говорила долго.
Пусть влюбленных страсти душат,
Требуя ответа,
Мы же, милый, только души
У предела света.

1956

6. СОН

Сладко ль видеть неземные сны?

А. Блок

Был вещим этот сон или не вещим...
Марс воссиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим,—
А мне в ту ночь приснился твой приезд.

Он был во всем... И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.

И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!

Чем отплачу за царственный подарок
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожженную тетрадь.

14 августа 1956

7

По той дороге, где Донской
Вел рать великую когда-то,
Где ветер помнит супостата,
Где месяц желтый и рогатый,—
Я шла, как в глубине морской...
Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово,
И встретить я была готова
Моей судьбы девятый вал.

1956

8

Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
Ни врач не исцелит, не утолит поэт,—
Тень призрака тебя и день и ночь тревожит.
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
Без фонарей как смоль был черен невский вал,
Глухая ночь вокруг стеной стояла...
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала — сама еще не понимала.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,
По осени трагической ступая,
В тот навсегда опустошенный дом,
Откуда унеслась стихов сожженых стая.

1956

9. В РАЗБИТОМ ЗЕРКАЛЕ

Непоправимые слова
Я слушала в тот вечер звездный,
И закружилась голова,
Как над пылающею бездной.
И гибель выла у дверей,
И ухал черный сад, как филин,
И город, смертно обессилен,
Был Трои в этот час древней.
Тот час был нестерпимо ярок
И, кажется, звенел до слез.
Ты отдал мне не тот подарок,
Который издалека вез.
Казался он пустой забавой
В тот вечер огненный тебе.
И стал он медленной отравой
В моей загадочной судьбе.
И он всех бед моих предтеча,—
Не будем вспоминать о нем!..
Несостоявшаяся встреча
Еще рыдает за углом.

1956

10

Ты опять со мной, подруга осень!

Ин. Анненский

Пусть кто-то еще отдыхает на юге
И нежится в райском саду.
Здесь северно очень — и осень в подруги
Я выбрала в этом году.

Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла,
Где странное что-то в вечерней истоме
Хранят для себя зеркала.

Иду между черных приземистых елок.
Там вереск на ветер похож,
И светится месяца тусклый осколок,
Как старый зазубренный нож.

Сюда принесла я блаженную память
Последней невстречи с тобой —
Холодное, чистое, легкое пламя
Победы моей над судьбой.

1956
Комарово

11

Против воли я твой, царица,
берег покинул.

«Энеида», Песнь 6

Не пугайся,— я еще похожей
Нас теперь изобразить могу.
Призрак ты — иль человек прохожий,
Тень твою зачем-то берегу.

Был недолго ты моим Энеем,—
Я тогда отделалась костром.
Друг о друге мы молчать умеем.
И забыл ты мой проклятый дом.

Ты забыл те, в ужасе и в муке,
Сквозь огонь протянутые руки
И надежды окаянной весть.

Ты не знаешь, чтó тебе простили...
Создан Рим, плывут стада флотилий,
И победу славословит лесть.

1962

12

Ты стихи мои требуешь прямо...
Как-нибудь проживешь и без них.
Пусть в крови не осталось и грамма,
Не впитавшего горечи их.

Мы сжигаем несбыточной жизни
Золотые и пышные дни,
И о встрече в небесной отчизне
Нам ночные не шепчут огни.

И от наших великолепий
Холодочка струится волна,
Словно мы на таинственном склепе
Чьи-то, вздрогнув, прочли имена.

Не придумать разлуку бездонней,
Лучше б сразу тогда — наповал...
И, наверное, нас разлученней
В этом мире никто не бывал.

Москва
1963

13

И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это — только рана
И муки облачко над ней.

Рим.
Ночь. 18 декабря 1964

\+ \+ \+

...А человек, который для меня
Теперь никто, а был моей заботой
И утешеньем самых горьких лет,—
Уже бредет как призрак по окрайнам,
По закоулкам и задворкам жизни,
Тяжелый, одурманенный безумьем,
С оскалом волчьим...

Боже, боже, боже!
Как пред тобой я тяжко согрешила!
Оставь мне жалость хоть...

1945

\+ \+ \+

Вот она, плодоносная осень!
Поздновато ее привели.
А пятнадцать блаженнейших весен
Я подняться не смела с земли.
Я так близко ее разглядела,
К ней припала, ее обняла,
А она в обреченное тело
Силу тайную тайно лила.

Комарово
1962

ПРИ НЕПОСЫЛКЕ ПОЭМЫ

Приморские порывы ветра,
И дом, в котором не живем,
И тень заветнейшего кедра
Перед запретнейшим окном...

На свете кто-то есть, кому бы
Послать все эти строки. Что ж!
Пусть горько улыбнутся губы,
А сердце снова тронет дрожь.

1963

ТРИЛИСТНИК МОСКОВСКИЙ

1. ПОЧТИ В АЛЬБОМ

Услышишь гром и вспомнишь обо мне
Подумаешь: она грозы желала...
Полоска неба будет твердо-алой,
А сердце будет, как тогда — в огне.
Случится это в тот московский день,
Когда я город навсегда покину
И устремлюсь к желанному притину,
Свою меж вас еще оставив тень.

2. БЕЗ НАЗВАНИЯ

Среди морозной праздничной Москвы,
Где протекает наше расставанье
И где, наверное, прочтете вы
Прощальных песен первое изданье —
Немного удивленные глаза:
«Что? Что? Уже?.. Не может быть!» —
«Конечно!..»
И святочного неба бирюза,
И все кругом блаженно и безгрешно...

Нет, так не расставался никогда
Никто ни с кем, и это нам награда
За подвиг наш.

3. ЕЩЕ ТОСТ

За веру твою! И за верность мою!
За то, что с тобою мы в этом краю!
Пускай навсегда заколдованы мы,
Но не было в мире прекрасней зимы,
И не было в небе узорней крестов,
Воздушней цепочек, длиннее мостов...
За то, что все плыло, беззвучно скользя.
За то, что нам видеть друг друга нельзя.

1961—1963

ПОЛНОЧНЫЕ СТИХИ

Семь стихотворений

Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит...

Решка

ВМЕСТО ПОСВЯЩЕНИЯ

По волнам блуждаю и прячусь в лесу,
Мерещусь на чистой эмали,
Разлуку, наверно, неплохо снесу,
Но встречу с тобою — едва ли.

Лето 1963

1. ПРЕДВЕСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

...toi qui m'as consolé
Gerard de Nerval

Меж сосен метель присмирела,
Но, пьяная и без вина,
Там, словно Офелия, пела
Всю ночь нам сама тишина.
А тот, кто мне только казался,
Был с той обручен тишиной,
Простившись, он щедро остался,
Он насмерть остался со мной.

Комарово
10 марта 1963

2. ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Какое нам, в сущности, дело,
Что все превращается в прах,
Над сколькими безднами пела
И в скольких жила зеркалах.
Пускай я не сон, не отрада
И меньше всего благодать,
Но, может быть, чаще, чем надо,
Придется тебе вспоминать —
И гул затихающих строчек,
И глаз, что скрывает на дне
Тот ржавый колючий веночек
В тревожной своей тишине.

Москва
6 июня 1963

3. В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

O quae beatam, Diva,
tenes Cyprum et Memphin...
Hor

Красотка очень молода,
Но не из нашего столетья,
Вдвоем нам не бывать — та, третья,
Нас не оставит никогда.
Ты подвигаешь кресло ей,
Я щедро с ней делюсь цветами...
Что делаем — не знаем сами,
Но с каждым мигом нам страшней.
Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.

Комарово
5 июля 1963

4. ТРИНАДЦАТЬ СТРОЧЕК

И наконец ты слово произнес
Не так, как те... что на одно колено,—
А так, как тот, кто вырвался из плена
И видит сень священную берез
Сквозь радугу невольных слез.
И вкруг тебя запела тишина,
И чистым солнцем сумрак озарился,
И мир на миг один преобразился,
И странно изменился вкус вина.
И даже я, кому убийцей быть
Божественного слова предстояло,
Почти благоговейно замолчала,
Чтоб жизнь благословенную продлить.

8—12 августа 1963

5. ЗОВ

В которую-то из сонат
Тебя я спрячу осторожно.
О! как ты позовешь тревожно,
Непоправимо виноват
В том, что приблизился ко мне
Хотя бы на одно мгновенье...
Твоя мечта — исчезновенье,
Где смерть лишь жертва тишине.

1 июля 1963

6. НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Все ушли, и никто не вернулся.

Не на листопадовом асфальте
    Будешь долго ждать.
Мы с тобой в Адажио Вивальди
    Встретимся опять.
Снова свечи станут тускло-желты
    И закляты сном,
Но смычок не спросит, как вошел ты
    В мой полночный дом.
Протекут в немом смертельном стоне
    Эти полчаса,
Прочитаешь на моей ладони
    Те же чудеса.
И тогда тебя твоя тревога,
    Ставшая судьбой,
Уведет от моего порога
    В ледяной прибой.

Комарово
10—13 сентября 1963

7. И ПОСЛЕДНЕЕ

Была над нами, как звезда над морем,
Ища лучом девятый смертный вал,
Ты называл ее бедой и горем,
А радостью ни разу не назвал.

Днем перед нами ласточкой кружила,
Улыбкой расцветала на губах,
А ночью ледяной рукой душила
Обоих разом. В разных городах.

И никаким не внемля славословьям,
Перезабыв все прежние грехи,
К бессоннейшим припавши изголовьям,
Бормочет окаянные стихи.

23—25 июля 1963

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А там, где сочиняют сны,
Обоим — разных не хватило,
Мы видели один, но сила
Была в нем, как приход весны.

1965

НЕЧЕТ

ПРИМОРСКИЙ СОНЕТ

Здесь всё меня переживет,
Всё, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И всё похоже на аллею
У царскосельского пруда.

Комарово
1958

МУЗЫКА

Д. Д. Шостаковичу

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.

Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

1958

ОТРЫВОК

...И мне показалось, что это огни
Со мною летят до рассвета,
И я не дозналась — какого они,
Глаза эти странные, цвета.

И все трепетало и пело вокруг,
И я не узнала — ты враг или друг,
Зима это или лето.

1959

ЛЕТНИЙ САД

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.

А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.

1959

\+ \+ \+

Не стращай меня грозной судьбой
И великою северной скукой.
Нынче праздник наш первый с тобой,
И зовут этот праздник — разлукой.
Ничего, что не встретим зарю,
Что луна не блуждала над нами,
Я сегодня тебя одарю
Небывалыми в мире дарами:
Отраженьем моим на воде
В час, как речке вечерней не спится,
Взглядом тем, что падучей звезде
Не помог в небеса возвратиться,
Эхом голоса, что изнемог,
А тогда был и свежий и летний,—
Чтоб ты слышать без трепета мог
Воронья подмосковного сплетни,
Чтобы сырость октябрьского дня
Стала слаще, чем майская нега...
Вспоминай же, мой ангел, меня,
Вспоминай хоть до первого снега.

1959

ГОРОДУ ПУШКИНА

И царскосельские хранительные сени...

Пушкин

1

О, горе мне! Они тебя сожгли...
О, встреча, что разлуки тяжелее!..
Здесь был фонтан, высокие аллеи,
Громада парка древнего вдали,
Заря была себя самой алее,
В апреле запах прели и земли,
И первый поцелуй...

2

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли,
Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ,
Одичалые розы пурпурным шиповником стали,
А лицейские гимны всё так же заздравно звучат.
Полстолетья прошло... Щедро взыскана дивной
судьбою,
Я в беспамятстве дней забывала теченье годов,—
И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою
Очертанья живые моих царскосельских садов.

1957

7—584

ПЕСЕНКИ

1. ДОРОЖНАЯ, ИЛИ ГОЛОС ИЗ ТЕМНОТЫ

Кто чего боится,
То с тем и случится,—
Ничего бояться не надо.
Эта песня пета,
Пета, да не эта,
А другая, тоже
На нее похожа...
        Боже!

1943

2. ЗАСТОЛЬНАЯ

Под узорной скатертью
    Не видать стола.
Я стихам не матерью —
    Мачехой была.
Эх, бумага белая,
    Строчек ровный ряд.
Сколько раз глядела я,
    Как они горят.
Сплетней изувечены,
    Биты кистенем,
Мечены, мечены
    Каторжным клеймом.

3. ЛИШНЯЯ

Тешил — ужас. Грела — вьюга.
Вел вдоль смерти — мрак.
Отняты мы друг у друга...
Разве можно так?
Если хочешь — расколдую,
Доброй быть позволь:
Выбирай себе любую,
Но не эту боль.

1959

4. ПРОЩАЛЬНАЯ

Не смеялась и не пела,
Целый день молчала,
А всего с тобой хотела
С самого начала:
Беззаботной первой ссоры,
Полной светлых бредней,
И безмолвной, черствой, скорой
Трапезы последней.

1959

5. ПОСЛЕДНЯЯ

Услаждала бредами,
Пением могил.
Наделяла бедами
Свыше всяких сил.
Занавес неподнятый,
Хоровод теней,—
Оттого и отнятый
Был мне всех родней.

Это все поведано
Самой глуби роз.
Но забыть мне не дано
Вкус вчерашних слез.

1964

ИЗ ЦИКЛА «ТАШКЕНТСКИЕ СТРАНИЦЫ»

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной,—
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы! не Варшава, не Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...

И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.

1959

МАРТОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Прошлогодних сокровищ моих
Мне надолго, к несчастию, хватит.
Знаешь сам, половины из них
Злая память никак не истратит:
Набок сбившийся куполок,
Грай вороний, и вопль паровоза,
И как будто отбывшая срок
Ковылявшая в поле береза,
И огромных библейских дубов
Полуночная тайная сходка,
И из чьих-то приплывшая снов
И почти затонувшая лодка...
Побелив эти пашни чуть-чуть,
Там предзимье уже побродило,
Дали все в непроглядную муть
Ненароком оно превратило.
И казалось, что после конца
Никогда ничего не бывает...
Кто же бродит опять у крыльца
И по имени нас окликает?
Кто приник к ледяному стеклу
И рукою, как веткою, машет?..
А в ответ в паутинном углу
Зайчик солнечный в зеркале пляшет.

1960

РИСУНОК НА КНИГЕ СТИХОВ

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
А под ним тот профиль горбатый,
И парижской челки атлас,
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.

1958

ЭХО

В прошлое давно пути закрыты,
И на что мне прошлое теперь?
Что там? — окровавленные плиты
Или замурованная дверь,
Или эхо, что еще не может
Замолчать, хотя я так прошу...
С этим эхом приключилось то же,
Что и с тем, что в сердце я ношу.

1960

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там всё теперь сияет, всё в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока...

2

И в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный и сладкий.
И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

3

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

1944—1960

АНТИЧНАЯ СТРАНИЧКА

I. СМЕРТЬ СОФОКЛА

Тогда царь понял, что умер Софокл.

Легенда

На дом Софокла в ночь слетел с небес орел,
И мрачно хор цикад вдруг зазвенел из сада.
А в этот час уже в бессмертье гений шел,
Минуя вражий стан у стен родного града.
Так вот когда царю приснился странный сон:
Сам Дионис ему снять повелел осаду,
Чтоб шумом не мешать обряду похорон
И дать афинянам почтить его отраду.

1961

II. АЛЕКСАНДР У ФИВ

Наверно, страшен был и грозен юный царь,
Когда он произнес: «Ты уничтожишь Фивы».
И старый вождь узрел тот город горделивый,
Каким он знал его еще когда-то встарь.
Всё, всё предать огню! И царь перечислял
И башни, и врата, и храмы — чудо света,
Но вдруг задумался и, просветлев, сказал:
«Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта».

Ленинград
1961

\+ + +

Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой.

Но самой проклятой восходит заря...
Я знаю: колотится сердце не зря —

От звонкой минуты пред бурей морскою
Оно наливается мутной тоскою.

На прошлом я черный поставила крест,
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,

Что ломятся в комнату липы и клены,
Гудит и бесчинствует табор зеленый

И к брюху мостов подкатила вода? —
И всё как тогда, и всё как тогда.

Ленинград
1944

ВЕНОК МЕРТВЫМ

I. УЧИТЕЛЬ

Памяти Иннокентия Анненского

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся...

1945

II

De profundis... Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет,
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть...
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

1944
Ташкент

III. ПАМЯТИ М. А. БУЛГАКОВА

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и всё вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всех потерявшей, всё забывшей,—

Придется поминать того, кто, полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

1940. Фонтанный Дом

IV. ПАМЯТИ БОРИСА ПИЛЬНЯКА

Всё это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом...
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

1938

V

О. Мандельштаму

Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть —
Окровавленной юности нашей
Это черная нежная весть.

Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи и пустой и железной,
Где напрасно зови и кричи.

О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там,—
Это кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам.

Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

Это ключики от квартиры,
О которой теперь ни гу-гу...
Это голос таинственной лиры,
На загробном гостящей лугу.

1957

VI. ПОЗДНИЙ ОТВЕТ

М. И. Цветаевой

Белорученька моя, чернокнижница...

Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворечник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом».

Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны,
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.

16 марта 1940 г.
Фонтанный Дом

VII. БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ

1

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.
Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох...
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

1957

2

Как птица, мне ответит эхо.
Б. П.

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь,

И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное... Земли.

1 июня 1960

3

Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела,
А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.

11 июня 1960
Москва. Боткинская больница

VIII. НАС ЧЕТВЕРО

Комаровские наброски

Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены.
О. М.

Таким я вижу облик Ваш
и взгляд.
Б. П.

О, Муза
Плача...
М. Ц.

...И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить — это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины...
Это — письмо от Марины.

1961

IX. ПАМЯТИ М. М. ЗОЩЕНКО

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят...

Комарово
1958

X. ПАМЯТИ АНТЫ

Пусть это даже из другого цикла...
Мне видится улыбка ясных глаз,
И «умерла» так жалостно приникло
К прозванью милому, как будто первый раз
Я слышала его.

1960

XI

Памяти Н. Пунина

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено... И песнь моя несется
В пустую ночь, где больше нет тебя.

1953

XII. ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ СТРОКИ

Пятым действием драмы
Веет воздух осенний,
Каждая клумба в парке
Кажется свежей могилой.
Справлена чистая тризна,
И больше нечего делать.
Что же я медлю, словно
Скоро свершится чудо?
Так тяжелую лодку долго
У пристани слабой рукою
Удерживать можно, прощаясь
С тем, кто остался на суше.

1944 <?>

\+ \+ \+

Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете,—
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Каторжники и самоубийцы,—
Мне прислали по одной копейке,
Стала б я «богаче всех в Египте»,

Как говаривал Кузмин покойный...
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой,
И я стала всех сильней на свете,
Так, что даже *это* мне не трудно.

1961

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ОДА

Девятисотые годы

А в переулке забор дощатый...
Н. Г.

Настоящую оду
Нашептало... Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск — Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак,
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.

Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертовка
Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая...
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот призрачный мир...
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

Комарово
1961

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
    Да, для нас это грязь на калошах,
    Да, для нас это хруст на зубах.
    И мы мелем, и месим, и крошим
    Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

Ленинград
1961

ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА

Вы напишете о нас наискосок.

И. Б.

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.

Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

Комарово
1962

ИЗ «ЧЕРНЫХ ПЕСЕН»

Слова, чтоб тебя оскорбить...
И. Анненский

I

Прав, что не взял меня с собой
И не назвал своей подругой,
Я стала песней и судьбой,
Сквозной бессонницей и вьюгой.
Меня бы не узнали вы
На пригородном полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке.

II

Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне...
Ничем не мог ты мне помочь.
Зачем же снова в эту ночь
Свой дух прислал ко мне?
Он строен был, и юн, и рыж,
Он женщиною был,
Шептал про Рим, манил в Париж,
Как плакальщица выл...
Он больше без меня не мог:
Пускай позор, пускай острог...

Я без него могла.

1961

СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕГИИ

Всё в жертву памяти твоей...
Пушкин

ПЕРВАЯ

Предыстория

Я теперь живу не там...
Пушкин

Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольней.
Торгуют кабаки, летят пролетки,
Пятиэтажные растут громады
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.
Везде танцклассы, вывески менял,
А рядом: «Henriette», «Basile», «André»
И пышные гроба: «Шумилов-старший».
Но, впрочем, город мало изменился.
Не я одна, но и другие тоже
Заметили, что он подчас умеет
Казаться литографией старинной,
Не первоклассной, но вполне пристойной,
Семидесятых, кажется, годов.
Особенно зимой, перед рассветом
Иль в сумерки — тогда за воротами
Темнеет жесткий и прямой Литейный,
Еще не опозоренный модерном,
И визави меня живут — Некрасов
И Салтыков... Обоим по доске
Мемориальной. О, как было б страшно
Им видеть эти доски! Прохожу.
А в Старой Руссе пышные канавы,
И в садиках подгнившие беседки,
И стекла окон так черны, как прорубь,

И мнится, там такое приключилось,
Что лучше не заглядывать, уйдем.
Не с каждым местом сговориться можно,
Чтобы оно свою открыло тайну
(А в Оптиной мне больше не бывать...)

Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
Ореховые рамы у зеркал,
Каренинской красою изумленных,
И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве,
Под желтой керосиновою лампой,
И тот же плюш на креслах...
        Все разночинно, наспех, как-нибудь...
        Отцы и деды непонятны. Земли
        Заложены. И в Бадене — рулетка.

И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила,—
Ненужный дар моей жестокой жизни...

Страну знобит, а омский каторжанин
Все понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемешает все
И сам над первозданным беспорядком,
Как некий дух, взнесется. Полночь бьет.
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем.

Так вот когда мы вздумали родиться
И, безошибочно отмерив время,
Чтоб ничего не пропустить из зрелищ
Невиданных, простились с небытьем.

1945

<ВТОРАЯ>

(*О десятых годах*)

И никакого розового детства...
Веснушечек, и мишек, и игрушек,
И добрых тёть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины.
Уже я знала список преступлений,
Которые должна я совершить.
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь:
Она передо мною стлалась лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина.
Передо мной, безродной, неумелой,
Открылись неожиданные двери,
И выходили люди и кричали:
«Она пришла, она пришла сама!»
А я на них глядела с изумленьем
И думала: «Они с ума сошли!»
И чем сильней они меня хвалили,
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить,
И тем сильней хотелось пробудиться,
И знала я, что заплачу́ сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я,— но длилась пытка счастьем.

4 июля 1955, Москва

<ТРЕТЬЯ>

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька моего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены,
Не уменьшало это чувство страха.
И я над ним смеяться научилась
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко,
В то время, как мы, замолчав, старались
Не видеть, что творится в зазеркалье,
Под чьими тяжеленными шагами
Стонали темной лестницы ступени,
Как о пощаде жалостно моля.
И говорил ты, странно улыбаясь:
«Кого *они* по лестнице несут?»

Теперь ты там, где знают всё, скажи:
Что в этом доме жило кроме нас?

1921<?>

<ЧЕТВЕРТАЯ>

Так вот он — тот осенний пейзаж,
Которого я так всю жизнь боялась:
И небо — как пылающая бездна,
И звуки города — как с того света
Услышанные, чуждые навеки.
Как будто всё, с чем я внутри себя
Всю жизнь боролась, получило жизнь
Отдельную и воплотилось в эти
Слепые стены, в этот черный сад...

А в ту минуту за плечом моим
Мой бывший дом еще следил за мною
Прищуренным, неблагосклонным оком,
Тем навсегда мне памятным окном.
Пятнадцать лет — пятнадцатью веками
Гранитными как будто притворились,
Но и сама была я как гранит:
Теперь моли, терзайся, называй
Морской царевной. Все равно. Не надо...
Но надо было мне себя уверить,
Что это все случалось много раз,
И не со мной одной — с другими тоже,—
И даже хуже. Нет, не хуже — лучше.
И голос мой — и это, верно, было
Всего страшней — сказал из темноты:
«Пятнадцать лет назад какой ты песней
Встречала этот день, ты небеса,
И хоры звезд, и хоры вод молила
Приветствовать торжественную встречу
С тем, от кого сегодня ты ушла...

Так вот твоя серебряная свадьба:
Зови ж гостей, красуйся, торжествуй!»

1942

<ПЯТАЯ>

Меня, как реку,
Жестокая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала,

И сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызвать слезы,
А я один на свете город знаю
И ощупью его во сне найду.
И сколько я стихов не написала,
И тайный хор их бродит вкруг меня
И, может быть, еще когда-нибудь
Меня задушит...
Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что-то,
О чем теперь не надо вспоминать.
И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.

Но иногда весенний шалый ветер,
Иль сочетанье слов в случайной книге,
Или улыбка чья-то вдруг потянут
Меня в несостоявшуюся жизнь.
В таком году произошло бы то-то,
А в этом — это: ездить, видеть, думать,
И вспоминать, и в новую любовь
Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем
Измены и еще вчера не бывшей
Морщинкой...

Но если бы оттуда посмотрела
Я на свою теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть наконец...

Ленинград, 1945

<ШЕСТАЯ>

Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая — как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословенным,
И тело в их блаженствует тени.
Еще не замер смех, струятся слезы,
Пятно чернил не стерто со стола —
И, как печать на сердце, поцелуй,
Единственный, прощальный, незабвенный...
Но это продолжается недолго...
Уже не свод над головой, а где-то
В глухом предместье дом уединенный,
Где холодно зимой, а летом жарко,
Где есть паук и пыль на всем лежит,
Где истлевают пламенные письма,
Исподтишка меняются портреты,
Куда как на могилу ходят люди,
А возвратившись, моют руки мылом,
И стряхивают беглую слезинку
С усталых век — и тяжело вздыхают...
Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали... Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,

И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Все к лучшему...

1945

ПАМЯТИ В. С. СРЕЗНЕВСКОЙ

Почти не может быть, ведь ты была всегда:
В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.
О, как менялось все, но ты была всегда,
И мнится, что души отъяли половину,
Ту, что была тобой,— в ней знала я причину
Чего-то главного. И все забыла вдруг...
Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
Ну что ж! попробую.

Комарово
9 сентября 1964

В ВЫБОРГЕ

О. А. Ладыженской

Огромная подводная ступень,
Ведущая в Нептуновы владенья,—
Там стынет Скандинавия, как тень,
Вся — в ослепительном одном виденье.

Безмолвна песня, музыка нема,
Но воздух жжется их благоуханьем,
И на коленях белая зима
Следит за всем с молитвенным вниманьем.

25 сентября 1964

\+ + +

Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно-ледяная
И несоленая вода.

На дне песок белее мела,
А воздух пьяный, как вино,
И сосен розовое тело
В закатный час обнажено.

А сам закат в волнах эфира
Такой, что мне не разобрать,
Конец ли дня, конец ли мира,
Иль тайна тайн во мне опять.

1964

БЕГ ВРЕМЕНИ

Борис Эйхенбаум. Об Ахматовой
(Тезисы докладов)

Дом ученых, 7 января 1946

«Итак, сударыни и судари, к нам идет новый молодой, но имеющий все данные стать настоящим, поэт. А зовут его — Анна Ахматова». Так приветствовал первую книгу стихов Ахматовой, «Вечер», поэт Михаил Кузмин в 1912 г. С тех пор прошло 34 года. Так — по арифметике, а по тому, что пережито,— не сосчитать, как не сосчитать тех утрат, которые мы понесли за эти годы.

Через десять лет — моя книга[1]: предисловие. Эта книга подвела итог всему первому периоду (1912—1923): «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник» и «Anno Domini». Потом — перерыв до 1936 г. С этого времени — новый период.

Первый период слагался на фоне кризиса символизма и развития футуризма: два имени рядом с Ахматовой — Блока и Маяковского.

От *символизма* лирика Ахматовой отличалась резкой конкретностью, вещественностью, точностью. Лаконизм, сжатость, энергия языка, скупость слов. Характерное отсутствие метафор, строгий отбор эпитетов (Пушкин, Баратынский). Разговорность стиля. Автобиографичность — дневник, роман с повествованием, диалогом, в центре которого — образ героини... Речевая мимика, артикуляционно-мимический стих: вокализм (губы).

От *футуризма* лирика Ахматовой отличалась узостью

[1] Б. Эйхенбаум. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пг; 1923 г.

тем, домашностью, тихостью («Слаб голос мой» и «Голос мой незвонок»), шепотностью, тяготением к классичности, к равновесию, сосредоточенностью на теме любви, на интимной жизни и психологии...

Опасения могли казаться законными, но многое важное и таившее в себе глубокие смыслы не было замечено:

1) Интимная жизнь рисовалась на фоне не только многозначительных связей с вещами, природой, но с *городом, с жизнью людей, иногда с историей*. Петербург (Нева, Петропавловская крепость, Летний сад), Царское Село, Павловск — все это свидетели и участники того, что переживает героиня ахматовской лирики — не как пейзаж, а как неразрывное целое...

2) Двойное восприятие — с оглядкой на какую-то другую, простую жизнь — вроде: «Лучше б мне частушки задорно выкликать, А тебе на хриплой гармонике играть»... Этот частушечный, народный, фольклорный тон проходит через все — в виде выкликаний, причитаний: см. о похоронах Блока... Это не только русская женщина — это русская баба. Героиня ахматовской лирики воспринимается как женщина из народа — и судьба ее как судьба *русской* женщины.

3) Переходы от интимной, домашней интонации к торжественной, ораторской. Обыденные, нарочито простые и прозаические фразы сменяются торжественными славянизмами...

4) Тема памяти, истории, которая усиливается:

> А я росла в узорной тишине,
> В прохладной детской *молодого века...*

5) Глубина мифа, в которой Муза становится заново живым поэтическим образом.

Все это дает ощущение личной жизни как жизни национальной, исторической, как миссия избранничества, как «бремя», наложенное судьбой: «Твое несу я бремя, тяжелое, ты знаешь, сколько лет».

Вот откуда и сила памяти, и страшная борьба с нею (потому что «Надо снова научиться жить»), и чувство истории, и силы для нового пути, трагическое (не личное) *муже-*

ство, в жертву которому отдается личная жизнь: «Упрямая, жду, что случится».

Это уже от истории, от чувства опоры. Символизм — вот эта сила, породившая Блока, Маяковского и Ахматову. Она поняла Маяковского...

Есть, вероятно, своя логика, свой исторический закон, что именно женская лирика, женская поэзия оказалась связью между прошлым и будущим. Есть биологический закон, хранящий женщину во время голода и мора; что-то подобное этому закону есть, очевидно, и в истории и в поэзии.

— Два личных голоса, две системы речи: Маяковский и Ахматова. Шепот.

— Грандиозные метафоры Маяковского — и полное их отсутствие у Ахматовой.

— Избранничество, мифология. *Колдовское.*

— Запад — Россия — Восток.

...Поэзия — на границе личных признаний, на границе безответной откровенности. В этом или за этим — ощущение своей личной жизни как жизни национальной, народной, в которой *все* значительно и общезначимо. Отсюда — выход в историю, в жизнь народа, отсюда — особого рода мужество, связанное с ощущением избранничества, миссии, великого, важного дела (Толстой). Это надо сделать центром. Здесь — связь с ранней лирикой и здесь же — отличие от нее. Это сказывается иногда неожиданным словесным ходом; таково, например, неоконченное начало стихотворения «Ива».

...Как много и часто говорит она о Музе! И она сумела сделать так, что это звучит не как стилизация. «Ты ль Данту диктовала страницы Ада? — Отвечает: Я». Это придает всей ее лирике мифологическую основу — ту, которая нужна для подлинной, высокой лирики.

...Все это противостоит принципам символизма, хотя с Блоком есть сближения: лирика тревоги...

...Три голоса: трагический голос Блока, крик Маяковского, шепот Ахматовой.

Дом кино, 17 марта 1946

Поэзия Ахматовой — одно из тех больших явлений, которое связано с историей целого поколения, прошедшего весь путь от первой русской революции до второй мировой войны (40 лет). Я сам из этого же поколения — и поэзия Ахматовой факт моей душевной, умственной и литературной биографии. Мне и легко и очень трудно говорить — не все скажу ясно.

Самое важное — то, что Ахматова, пережив эпоху молчания и уединения (1925—1935), нашла силы для нового пути, для нового творчества. Дело тут не только в личных силах, в личном таланте: тут нужно говорить об *исторических* силах и стимулах. Сохранить силу жизни можно личным усилием — сохранить творческую силу невозможно. Мне кажется, что важнее всего понять именно это, потому что мы сегодня слышим новый голос Ахматовой. В 1912 г. Кузмин приветствовал (в сборнике «Вечер») «новый *женский* голос, отличный от других и слышимый, несмотря на очевидную, как бы желаемую обладателем его *слабость тона*». Так говорила и сама Ахматова: «Слаб голос мой» или «И голос мой незвонок». Это был, действительно, *женский* голос, противостоявший и голосу Блока и особенно голосу Маяковского.

Малая форма, сжатость и энергия языка, разговорность, точность. Установка на интонацию, произносительная, артикуляционная природа. Речевая мимика. Интонация интимная, частушечная (голошение, причитание), молитвенная: шепот — и вскрикивания.

Дневник, роман в письмах, личные признания.

Трагический образ героини. Родство с Блоком. Ораторское слово Маяковского (тоже произносительное) — и разговорное у Ахматовой.

Лирика, превращающаяся в миф... Избранничество, «бремя» творчества, колдовская сила. Мечты о простой жизни. Память.

8—584

Мужество — потому что историческая, национальная миссия.

Новые стихи Ахматовой выросли из этого зерна. Голос стал торжественнее, история вошла в поэзию.

Величавость, равновесие, ампирность — классичность.

Возможно, что недаром поэтическая индивидуальность сохранена в поэзии именно Ахматовой.

...Ахматова сохранила и углубила прежнее свое мастерство, отказавшись от той часто парадоксальной психологической остроты, которой была окрашена ее лирика прежних лет. Ее язык стал строже и торжественнее. Центральным среди новых стихотворений кажется мне — «Маяковский в 1913 году». Это стихотворение — замечательный документ, бросающий свет на весь творческий путь Ахматовой и свидетельствующий о глубоком понимании ею исторической роли поэзии Маяковского.

Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
. . . .
И еще неслышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

Это преклонение перед Маяковским многозначительно: им объясняется многолетнее молчание Ахматовой-поэта. Она как бы уступила слово Маяковскому. В этом сказались и серьезность и благородство ее литературной позиции и понимание новой эпохи. Поэтическая система Ахматовой неразрывно и органически связана с интимной лирикой. Голос Ахматовой продолжает звучать, но, конечно, не так громко, как он звучал прежде, когда создание такого рода психологической лирики было очередной поэтической задачей.

| День поэзии. Л., 1967.

Виктор Франк. Беседа С Георгием Адамовичем

— И Вам в Париже, и мне в Лондоне довелось видеться и беседовать с Анной Андреевной Ахматовой. Мне хотелось бы сегодня обменяться впечатлениями об этом большом русском поэте. Какое Ваше главное впечатление от встречи с А.А. вот теперь, в 65-м году?

— Мне трудно в нескольких словах передать, какое она произвела на меня впечатление. Прежде всего, я не знал, хочет ли она со мной встретиться, потому что прошло больше 40 лет с тех пор, как я уехал из России; я был очень обрадован, когда услышал голос ее по телефону из Лондона, что она будет в Париже и хотела бы меня увидеть. Физически она, конечно, резко изменилась. Она была необычайно хороша в молодости; а теперь это была красивая, видная — но пожилая женщина. Ведь ей — за 70 лет. Когда я случайно в разговоре сказал, что «недаром вас сравнивают с Екатериной Великой», она, мило усмехнувшись, сказала: «Я была лучше, чем Екатерина».

Теперь, какое впечатление от нее как от человека. Она была в молодости очень молчалива, очень сдержанна. Даже когда шло обсуждение стихов, она почти всегда молчала, а говорил Гумилев. Теперь же она стала очень разговорчива, авторитетна, очень уверена в каждом своем суждении. Это первое, что меня удивило — не в хорошую и не в дурную сторону, а просто как перемена в человеке. И чувствовалось, что человек этот очень много пережил, и одна из последних фраз, которую я от нее слышал незадолго до того, как она уезжала из Парижа, при последнем нашем свидании, была: «Кажется, все, что может судьба послать тяжелого человеку, все это я испытала».

— Вы говорите, она стала гораздо более авторитетной и уверенной в своих суждениях, чем раньше. Но во-первых, тогда, в далекие петроградские времена, она была еще девочкой, а во-вторых, не думаете ли Вы, что в последние годы жизни она сознавала себя уже почти единственным носителем большой традиции русской поэзии,

и поэтому говорила уже как власть имущая, по праву, так сказать.

— Бесспорно. Но кроме того, тут сказалась и какая-то черта характера. Я вспоминаю, что Александр Блок, которого я знал мало, но все-таки знал и несколько раз слышал его замечания, не производил впечатление человека в себе уверенного, человека авторитетного. Наоборот, он был сдержан, хмур, как будто ни в чем не уверен. Значит, это была черта характера Анны Андреевны в возрасте, близком к настоящей старости.

— *Она меня поразила своим, как бы сказать, мужским умом, несколько сардоническим, сухим, сухой иронией, которой она пользовалась в суждениях.*

— Да. Она была очень умна и часто резка в суждениях. Я несколько с ней разошелся в разговоре, в частности, в суждениях о молодых советских поэтах. Она твердо отстаивала Бродского, очень неодобрительно отзывалась о Евтушенко и Вознесенском, хотя признавала дарование того и другого. Но я хочу еще вернуться к ее манере в молодости. Прежде всего я ее не знал девочкой. Я с ней познакомился года за два, за три до революции. Ей было тогда лет 25—26. Я помню собрание в Цехе поэтов. Сидели поэты и один за другим читали стихи. Почти неизменно первым всегда говорил Гумилев. Он был человек, уверенный в своих суждениях; и действительно, он обладал необычайной способностью сразу улавливать в стихах недочеты или удачи. Ахматова молчала. Но вот сравнение, которое только что мне пришло в голову. Я где-то читал, что когда известный французский политический деятель Жорес произносил в Палате блестящие и длинные речи, то Клемансо обычно молчал, но потом одной фразой словно прокалывал большой шар, который оказывался ничем. Что-то подобное было в молчании Ахматовой. Она слушала Гумилева немножко иронически (может быть, потом она изменила к нему отношение, но тогда это было так). И иногда одной фразой будто говорила что-то такое, что подрывало его очень умелые и очень тонкие замечания.

— Один вопрос: Г. В., в те годы, когда Вы с ней встречались в Петрограде, она была еще женой Гумилева, это было до их расхождения или развода?

— Я ее знал и женой его еще, но не помню, какой это был год. В первый раз я был у них в Царском Селе; у нее на коленях сидел ее сын Лев Николаевич Гумилев, ему было тогда года три. Его кто-то, очевидно, научил фразе, которую, конечно, он не понимал — «папа формотворец, а мама истеричка», и эту фразу он повторял при общем хохоте. А потом я ее встречал, когда она с Гумилевым разошлась и сошлась с Шилейко, который был ее вторым мужем.

— Вы сказали, что Блок вряд ли стал говорить так авторитетно и с такой властностью, как Ахматова. Меня ее властность тоже удивила, но я принял это как нечто естественное, потому что на фоне безлюдия русской советской литературы шестидесятых годов она имела право чувствовать себя царицей, и вела себя как царица. Из-за ее состояния здоровья она почти не вставала с кресла и все ее посетители подходили целовать ей руку, а она их принимала очень милостиво или менее милостиво, но всегда как царица.

— Я видел Паустовского в Париже приблизительно за год или за 2 до приезда Ахматовой. Значит, это был 63 или 64 год. Он интересовался главным образом Буниным, и хотел меня видеть потому, что я хорошо знал Буниных. В разговоре, помимо Буниных, мы коснулись Ахматовой. Он сказал: «Куда бы у нас Анна Андреевна ни пришла, она всюду королева». И очевидно, что это выражение установилось тогда в России, потому что то же самое дословно повторила внучка Пунина, который был последним мужем Анны Андреевны — «Куда бы Ахматова ни приходила, она везде была принята как королева». Значит, она себя так держала и все это чувствовали, что она занимает какое-то царственное место.

— Вы, наверно, беседовали с Ахматовой не только на литературные и не на чисто житейские темы. Ваша биография и ее биография сложились по-разному. Вы

выехали из России в 24 году, а она осталась и провела там все страшные годы сталинщины и войны и страшнейшие для нее годы послевоенной ждановщины. Нашли ли Вы с нею общий язык после этой длительной разлуки?

— Трудно говорить об общем языке потому, что после этих 40 или 50-ти лет разлуки я видел ее три дня и имел с нею три долгих разговора. Общий язык о стихах нашелся сразу. Других тем мы не касались, в частности, не касались одного пункта, в котором я с ней не совсем согласен: я имею в виду ее гордость тем, что она осталась в России.

— *Вы имеете в виду ее старое стихотворение 20-х годов. Как оно начиналось?*

— Оно начиналось строфой, которая ни в каких изданиях больше не воспроизводится, в советских во всяком случае:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской Церкви отлетал

— *А конец этого стихотворения?*

— Конец касается другой темы. Я могу сказать, что при всем моем уважении и любви ко всему, что Ахматова делала и говорила, здесь я не могу во всем с ней согласиться. Она писала это в первые годы революции:

Мне голос был, он был утешный.
Он говорил, иди сюда,
Оставь свой край родной и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Но равнодушно и спокойно
Руками я заткнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

То есть — уехать из России — это измена, это что-то, что осквернит.

Несколькими десятками лет позже во вступлении к Реквиему она писала то же самое:

Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

В самой интонации этой строфы чувствуется гордость, чувствуется вызов. Это очень достойная позиция. Я не имею ни малейшего намерения в чем-либо Ахматову упрекнуть. Я считаю, что остаться «с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», это большая заслуга, позиция, которая достойна всяческого уважения. Но с чем я не могу согласиться, это с вызовом, который в ее интонации чувствуется. Ведь если бы все те, которые оказались вольно или невольно в эмиграции, если бы они остались в России, то оказалось бы, что пятьдесят лет Россия молчала или повторяла бы только то, что совпадает с партийной мудростью. Некоторых русских мыслителей правительство советское выслало, другие уехали добровольно. Остались же только люди, которые могли выражать мысли, совпадающие с партийными указаниями. Вся линия русской философии, русской мысли, идущая, в общих чертах,— от линии, заложенной Владимиром Соловьевым: Булгаков, Бердяев, Франк; Шестов, хотя он и не принадлежит прямо к этой линии, но, во всяком случае, это был выдающийся русский мыслитель; никто из них не мог бы написать того, что написал, оставшись в России. Один из выдающихся русских людей нашего века, глубокий мыслитель, остался и погиб в ссылке: это о. Павел Флоренский, автор замечательных книг. Если бы эти люди остались в России, это обернулось бы сорокалетним молчанием России или же, как теперь в советской России делается, за великих философов выдавались бы люди, может быть и талантливые — но и только. Я ничуть не хочу умалить чисто литературное значение Белинского, но когда там пишут, что Белинский был гениальным философом и ставят его чуть ли не наряду с Кантом и с Гегелем, то это чепуха. Вся глубинная линия русской мысли, русской философии, окрашенная интересом к религии, не могла бы су-

ществовать в советской России. И это была бы большая потеря. Может быть, многое из того, что написано Буниным, могло бы быть написано в советской России, но он не был бы там самим собой. Этого я не могу забыть. Повторяю, я признаю и уважаю вполне заслуживающую признания и уважения позицию Ахматовой, но только без вызова тем, кто с ее позицией не согласен.

— Я с Вами, в общем, согласен, только хотел бы некоторые «акценты» «подправить», как складывается по моим впечатлениям. Во-первых, Вы говорите — пятьдесят лет, но первые десять лет после революции и сама Ахматова, и многие другие писали так, как им, в общем, хотелось. Это первое, а второе то, что в ходе моих бесед с А. А. Ахматовой и наблюдая ее встречи со старыми друзьями, которые прожили весь этот период в эмиграции, я не замечал в ней никакого чувства превосходства по отношению к ним. Наоборот, она чувствовала себя, как бы сказать, как рыба в воде, вдруг очутившаяся среди выживших ее сверстников и сверстниц, с которыми она могла говорить без оглядки, прямо так, как она чувствовала и чисто в бытовом отношении и даже в более широком мировоззренческом плане.

— Да, конечно. И я повторяю Ваши слова: она была человеком и воспитанным, и умным, и живым, настоящим человеком, и, конечно, когда я говорю, что в ее позиции был какой-то вызов, это не относилось к отдельным людям. У меня не было в разговорах с ней — в общем, мы проговорили часов 5—6 — ни одной минуты ощущения недоброжелательства, что она на одной стороне, а я на другой, ничего подобного не было. Но одно из последних ее стихотворений и одно из первых, вот то, которое я прочел,— показывают, что она считала свою позицию вернее другой, между тем, как в таком сложном явлении, как революция, со всеми ее несчастьями, нельзя брать одну сторону и считать, что только это поведение правильно, а все другое неправильно. Я тоже боюсь быть неправильно понятым; я только хочу сказать, что можно было поступить так, как посту-

пила Ахматова, но можно было поступить и так, как поступил, скажем, Бердяев (Бердяев, правда, был выслан) или как Лев Шестов и другие. Кстати, тот огромный интерес к Бердяеву, который по всем доходящим до меня сведениям сейчас существует у молодежи в России, оправдывает то, что я говорю, что там, очевидно, чувствуют, что Бердяев должен был писать. Мне представляется, что то, что Бердяев писал о свободе, это то, что сейчас русским людям очень нужно и они чувствуют, что этого они бы не знали, потому что он высказал некоторые положения, мысли, до которых они сами не могли бы дойти.

Если попытаться взглянуть объективно на судьбу русской культурной элиты в страшные годы после 1917 года, то надо сказать, что та самоотверженность, которую проявила Ахматова и многие другие, отказавшись уехать,— заслуживает глубокого уважения. Но, конечно, и то, что сделала эмиграция за эти два или полтора поколения, тоже огромная заслуга перед русской культурой. И то, и другое оказалось необходимым. Жизнь же сложилась трагически, по-разному, но трагически и для тех и для других.

— Но мы говорим о Ахматовой только как о человеке и почти ничего не сказали о ней как о поэте. Вот сейчас, когда мы обладаем уже некоторой исторической перспективой, по-Вашему, какое место занимает Ахматова в русской поэзии XX века?

— Не только двадцатого. Я считаю Ахматову замечательным явлением во всей русской поэзии XIX и XX века. Конечно, это самый большой поэт-женщина; но неправильно говорить только о поэтессах, говоря о Ахматовой. Что бы она ни писала, ее стихи всегда поют; у нее есть это музыкальное начало, которого иногда нет и у очень больших поэтов. Например, его нет у Ходасевича. Стихи Ходасевича прекрасно написаны; может быть, они искуснее написаны, чем стихи Ахматовой, но каждая строчка Ахматовой будто куда-то летит и тянется. Стихи Бунина великолепно написаны, но слова ограничены словами. У Ахматовой этого нет. А ее первоначальный успех, то, что она оказалась сразу признанной, объясняется ее чисто стилистической находкой. Обыкно-

венно, когда люди, особенно женщины, пишут о своих чувствах, и все поэтессы говорят о любви, большей частью о несчастной любви, выражая, определяя свои чувства. Ахматова нашла прием, который сразу всех удивил: одним словом, двумя словами сказать о своем душевном состоянии, и так, что это сразу же яснее, острее врезывается в память. Я не буду повторять все стихотворение, потому что те, кто интересуется поэзией, его знают. Но вот две его строчки:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки —

что показывает ее душевное смятенье. Или другое стихотворение, которое, может быть, положило начало ее славе. Оно начинается так:

Сжала руку под темной вуалью.

Любовная драма. От нее уходит любимый человек. Но вот последняя строфа:

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Пренебрежительно насмешливое замечание. Всю эту драму другая поэтесса растянула бы на десять страниц, а здесь в одной фразе вы чувствуете тон этой размолвки и все ее смятенье после его сухого совета — «не простудись». И этот ее прием всех поразил.

— Да, у нее было это уменье какой-то бытовой деталью объяснять сложное душевное состояние, причем оно у нее совмещалось с удивительной точностью. Это меня уже поразило в одном ее раннем стихотворении:

Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерных лодок.

или

Но не заменят мне утрату
Четыре новые плаща.

И это проходит через всю ее поэзию: арифметическая и даже, я бы сказал, топографическая точность:

Здравствуй! Легкий шелест слышишь
Справа от стола?

— Еще Некрасов дал урок точности. Помните его знаменитое стихотворение, в котором есть строка:

Сорок медведей поддел на рогатину,
На сорок первом сплошал.

Она, кстати, очень любила Некрасова. Когда-то Чуковский провел анкету среди русских поэтов о Некрасове, и все ответили, что Некрасов замечательный поэт. Максим же Горький (своя своих не познаша), считавший, что в стихах надо писать о цветочках и о женских головках, сказал, что, конечно, «Некрасов — это очень полезно, но какой же он поэт». Но о Некрасове я упомянул вскользь в связи с «сорока медведями». Настоящим учителем Ахматовой был Иннокентий Анненский, великий поэт, к несчастью, до сих пор еще не совсем признанный. В предисловии к одному из своих сборников, она писала: «Я забыла все на свете, когда читала «Кипарисовый ларец» Анненского». Это был уже его посмертный сборник. Анненский ее настоящий учитель, учитель точности, как и многого того, что так замечательно в ее поэзии. Я недавно случайно раскрыл ее книгу и напал на строчку:

И не с кем плакать, не с кем вспоминать.

Подумайте, как эта одна строка передает все, что она могла бы сказать подробней и обстоятельней, но это было бы излишне. В этой строке сказано все.

— Это просто поразительно по лапидарности. И вот такие же:

Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.

или

Горька твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

Я как-то сказал ей, как я ценю эти строки. А она ответила: «Но это не я, это — Данте».

— Но надо перевести так, чтобы это звучало по-дантовски. Дантом ее соблазнил Мандельштам, который им бредил. Но Ахматова знала итальянский язык и читала Данте в подлиннике.

Сокращенный текст радиобеседы 1965 года, проведенной критиком Виктором Семеновичем Франком (1909—1972) и поэтом Георгием Викторовичем Адамовичем (1894—1972), напечатан в газете «Русская мысль», Париж, 24 апреля 1980. Стихи Ахматовой Адамович цитирует по памяти с ошибками.

Виктор Франк. Бег времени

Нет, пожалуй, в новой русской поэзии поэта, кроме Анненского, который воспринимал бы время с такой отчетливостью и остротой, как Анна Ахматова. Я имею в виду время и в историческом смысле, и в смысле того таинственного метафизического процесса, в который погружены человек и мир.

Это гипертрофированное восприятие времени не было у Ахматовой чем-то неизменным. Зрелая Ахматова расширяет и углубляет его и в историко-социальном, и в метафизическом его планах и приходит к пророческому ощущению истории. В молодые же годы чувство времени носило у Ахматовой форму почти машинально точной фиксации момента или продолжительности явления. В четырнадцати строках, из которых состоит «Сероглазый король» — четыре точных хронологических определения. Они засекают четыре события: смерть короля («умер вчера сероглазый король»); горе королевы («за ночь одну она стала седой»); приход мужа («вечер осенний...») и его уход («... и на работу ночную ушел»).

Даже в самых эмоционально насыщенных стихотворениях течение времени то и дело проверяется календарем и хронометром:

Хочешь знать, как это было?
Три в столовой пробило.

*

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

*

Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.

*

Тому три года в Вербную Субботу.

И даже:

Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа.

Подлинный месяцеслов можно составить из календарных засечек Ахматовой:

Я в январе была его подругой.

*

Памятным мне будет месяц выюжный,
Северный, встревоженный февраль.

*

Мне жаль, что ваше тело,
Растает в марте, хрупкая Снегурка.

*

Нежна апрельская прохлада.

*

Как ты до мая доживешь?

С этим четким восприятием времени юная Ахматова сочетает одинаково четкое восприятие числовых соотношений:

Показалось, что много ступеней,
А я знала,— их только три.

*

Но не заменят мне утрату
Четыре новые плаща.

*

И дал мне три гвоздики.

*

Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок.

*

Жарко пламя трех тысяч свечей.

Столь же отчетливо пространственное ви́дение Ахматовой:

За кладбищем направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.

*

Здравствуй! Легкий шелест слышишь
Справа от стола?

*

Так же влево пламя клонит
Стеариновая свечка.

Эта трезвая, умная точность зрительной памяти сближает некоторые ранние стихотворения Ахматовой с журналистским жанром в лучшем смысле слова. Как опытный репортер, она выискивает, запоминает и лапидарно воспроизводит одну, единственно нужную, конкретную деталь:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.

Или уже цитированное выше:

На Малаховом Кургане
Офицера расстреляли.

Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.

Гипертрофия времяощущения естественно сопрягается с сознанием преходимости, обреченности всего земного, с памятью смертной. И действительно, мысль о смерти часто встречается у молодой Ахматовой. Но это именно отвлеченная мысль, а не живое знание. Она облечена в условно-романтические, почти оперные формы:

Хорони, хорони меня, ветер!
. . . .
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить.

*

Смертный час, наклонясь, напоит
Прозрачной сулемой.
А люди придут, зароют
Мое тело и голос мой.

Это слова двадцатилетнего неумудренного существа, для которого смерть — повод для меланхолических размышлений или традиционный литературный гамбит.

Тридцать лет спустя Ахматова писала с гораздо меньшей уверенностью:

Я была на краю чего-то,
Чему верного нет названья...
Зазывающая дремота,
От себя самой ускользанье.

Или:

Смерти нет — это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть — пусть расскажут мне.

Только одно, пожалуй, стихотворение раннего периода видит смерть без романтических прикрас. Характерно, что оно относится к 1916 году, к военному времени, которое внесло новое измерение в ахматовскую поэзию:

А дальше — свет невыносимо щедрый,
Как красное, горячее вино...
Уже душистым, раскаленным ветром
Сознание мое опалено.

Но в поздних стихотворениях память смертная приобретает у Ахматовой конкретность, сложность и конечную невыразимость, присущие всему непосредственно познанному. Ахматова постоянно размышляет о смерти, постоянно чует ее присутствие, изучает признаки, принципиально отличающие ее от всякой *жизненной* беды:

Когда человек умирает,
Меняются его портреты.
По другому глаза глядят, а губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

В стихотворении «Три осени» Ахматова прослеживает приближение смерти — через «праздничный беспорядок» ранней осени, через бесстрастие и блеклость позднеосеннего невзгодья:

Но ветер рванул, распахнулось — и прямо
Всем стало понятно: кончается драма,
И это не третья осень, а смерть.

Но одно дело — предчувствие собственной смерти; другое дело — смерть близких. Ко второму неизбежно присоединяется сознание вины, муки совести, покаяние.

Покаяние — третье звено ахматовского мироощущения. Время, смерть, покаяние: вот триада, вокруг которой вращается поэтическая мысль Ахматовой.

Покаяние — оборотная сторона чувства ответственности. Кто бы мог предугадать в первые годы поэтической жизни Ахматовой, что ей, «царскосельской веселой грешнице», выпадет на долю страшный жребий Сивиллы, что она на

своих, казалось бы, хрупких плечах понесет тяжкий груз ответственности — не только личной, но и общенародной, что она станет голосом совести всей страны? Но так случилось. Ахматова перешла от эгоцентрической любовной лирики, замкнутой в узком мирке душевных переживаний, своих обид, своей ревности, своей тоски, к широкому, эпическому восприятию истории, к жертвенной готовности принять все ей положенное. Переход этот начался летом 1914 года.

И, может быть, прирожденная, почти физиологическая, сама по себе морально нейтральная способность ощущать бег времени послужила Ахматовой в качестве ранней практики для пророчески-зоркого восприятия истории, которое проснулось в ней позже. Как бы то ни было, с 1914 года Ахматова заговорила новым языком:

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

Примечательно, что и грамматика этого нового языка иная. Впервые единственное число уступает место множественному, местоимения «мы» и «вы» превозмогают местоимения «я» и «ты».

Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от новых могил.

Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

*

Думали нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем,—
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей,
Да о нашем бывшем богатстве.

Ахматова никогда не была гражданским поэтом в некрасовском смысле. Ее поэтический темперамент — не темперамент борца или проповедника. Но после начала «настоящего двадцатого века», летом 1914 года, ей — как и другим поэтам — стало трудно, если не невозможно, писать о своем в отрыве от общего. Правда, и после 1914 года интимно-личные темы продолжают преобладать в творчестве Ахматовой. Но само ее творчество претерпевает некое химическое изменение. Субъективное уступает объективному. Грусть, например, сменяется объективным понятием «горя».

Вообще слово «горе» — одно из самых излюбленных Ахматовой слов:

Я друзьям моим сказала:
«Горя много, счастья мало.»

*

Было горе, будет горе,
Горю нет конца.

*

Горе душит, не задушит.

*

Разве забыли мои уста
Твой привкус, горе?

*

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река.

В двадцатые годы личное и общее единоборствуют в ахматовской поэзии с переменным успехом. Они все еще существуют каждое само по себе, и поэт ищет путей к преодолению этого напряжения. Только после страшных переживаний, выпавших на долю Ахматовой в тридцатых и сороковых годах, ей удается синтез этих двух начал. И характерно, что она находит решение не в радости, не в экстазе, а в скорби и в страдании. «Реквием» и «Поэма без героя» — два царственных примера взаимопроникновения личного и общего.

В «Реквиеме» отчаяние матери не обособляет ее. Наобо-

рот, через свою скорбь она прозревает страдания других. «Мы» и «я» становятся почти синонимами. Ахматова сама предугадала, чем станет ее «Реквием»:

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ...

Предельное одиночество («эта женщина больна, эта женщина одна») не перерождается в эгоцентрическое замыкание в собственной боли. Душа Ахматовой отверзта настежь:

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас.
*
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною.

Чисто поэтически «Реквием» — чудо простоты. Поэзия Ахматовой всегда была четкой, по-петербургски подобранной. Ей всегда были чужды вычурность и говорливость московского лада. Но в «Реквиеме» ей удалось еще большее — дисциплинировать свои собственные чувства, вогнать их в крепкую ограду стихотворной формы, как воды Невы сдерживаются гранитными набережными. Простая суровость формы, противостоящая страшному содержанию, делают «Реквием» произведением, адекватным той апокалиптической поре, о которой оно повествует.

Несравненно более сложна — и по содержанию, и по форме — «Поэма без героя». Недаром Ахматова работала над ней многие годы, дополняя, редактируя, переписывая, перемещая отдельные строки, строфы и главки. Поэма обрастала посвящениями, предисловиями. Именно в «Поэме без героя» три сквозные темы ахматовской поэтической мысли — время, смерть, покаяние — выявлены наиболее выпукло и контрапунктически переплетены друг с другом. Причем это сплетение имеет место на трех временных уровнях или в трех временных потоках — в рассказе о 1913 годе, в возврате этой темы четверть века спустя («из года сорокового, как с башни, на все гляжу»), и в том времени, в котором пишется поэма.

У шкатулки ж тройное дно,—

говорит сама Ахматова.

Отворим же эту волшебную шкатулку. Первое ее дно — повесть о самоубийстве молодого офицера, несчастно влюбленного в героиню поэмы. Героиня эта фигурирует под разными именами: она и «Путаница-Психея», она и «козлоногая», и «Коломбина десятых годов», и «донна Анна», и «петербургская кукла». Больше того, она даже один из двойников Ахматовой. Во всяком случае Ахматова берет на себя ее грех: «Не тебя, а себя казню», говорит автор, обращаясь к портрету «Путаницы». Всю поэму — на чисто психологическим уровне — можно истолковать как исповедь. «Поэма без героя» — вся под знаком раскаяния. Но раскаяния в чем? Прежде всего в бессмысленной смерти мальчика, но в более широкой перспективе и в исторических грехах целого поколения. Поколение это отказывалось и отказывается брать на себя ответственность за все случившееся. Об одном из персонажей тринадцатого года, которого Ахматова называет «изящнейшим сатаной», она говорит:

И проходят десятилетья:
Кто не знает, что совесть значит,
И зачем существует она.

А о другом:

И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем...
Поэтам
Вообще не пристали грехи.

Они, эти «лжепророки и краснобаи», явившись теперь Ахматовой под Новый Год, отказываются принимать на себя ответственность. Но Ахматова-то знает, что ей от ответственности не уйти:

Ведь сегодня такая ночь,
Когда нужно платить по счету.

Но почему именно ей?

Ну, а как же могло случиться,
Что во всем виновата я?
Я — тишайшая, я — простая,
«Подорожник», «Белая стая»...
Оправдаться... Но как, друзья?

Покаяние, обусловленное смертью — неизбывно. Время тут бессильно. Прошло более четверти века с той ночи, как в Петербурге на парадной лестнице застрелился мальчик, прошло почти четверть века с той поры, как рухнул весь мир, в котором жили «Коломбина десятых годов», «Иванушка древней сказки», сам автор. И вот в новогоднюю ночь врываются под видом ряженых петербургские тени, оживает весь мир, выходит из портрета «Путаница-Психея» — а «между печкой и шкафом» (еще один пример поразительной топографической точности Ахматовой!) стоит кто-то, вышедший из-под могильной плиты.

Это — второе дно шкатулки: только-только кончилась ежовщина, миллионы людей гибнут в лагерях, в Европе началась Вторая война. В полном одиночестве Ахматова встречает новый, 1941-ый год — вспоминая, оплакивая год 13-ый, и пытается «замаливать давний грех».

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

Мир, который она вспоминает, противоречив, как все живое. И противоречиво ее отношение к нему. Конечно, в первую очередь, это мир ее молодости. Пожалуй, нежнейшие слова во всей «Поэме» Ахматова находит именно, когда пишет об этой весенней поре:

Теплый ливень уперся в крышу,
Шепоточек слышу в плюще.
Кто-то маленький жить собрался,
Зеленел, пушился, старался
Завтра в новом блеснуть плаще.

Сплю —
            она одна надо мною,—
Та, что люди зовут весною,
Одиночеством я зову.
Сплю — мне снится молодость наша...

Или, в другом ключе:

А теперь бы домой скорее,
Камероновой галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад...

Но этот же мир — мир «блудный» и «грозный», исполненный тревогой и «непонятным гулом», мир, смутно чувствующий свою обреченность:

Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек —
А по набережной легендарной
Приближается не календарный,
Настоящий двадцатый век.

Мир этот кощунственно легкомыслен. Это — «адская арлекинада»:

Гибель где-то здесь, очевидно,
Но бездумна, легка, бесстыдна
    Маскарадная болтовня.

А между тем:

До смешного близка развязка;
    Из-за ширм Петрушкина маска,
Вкруг костров кучерская пляска,
    Над дворцом черно-желтый стяг...

Все уже на местах, кто надо;
  Пятым актом из Летнего сада
    Пахнет...

*

Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
  Приближалась медленно тень...

Мир этот игнорирует смерть. («Кто над мертвым со мной не плачет...»). А между тем, смерть и вызванное ею отчаянное покаяние — суть всей Поэмы. «Поэма без героя» — заклинание, вопль об освобождении от мук совести: «Ведь сегодня такая ночь, когда нужно платить по счету». Но в том-то и ужас этих мук, что от них избавления нет:

Все в порядке: лежит поэма
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема,
Кулаком в окно застучит, —
И откликнется издалека
На призыв этот страшный звук —
Клокотание, стон и клекот
И виденье скрещенных рук...

Или, более субъективно:

За одно мгновенье покоя
Я посмертный отдам покой.

Но «Поэма без героя» — нечто несравненно большее, чем только одно лирическое излияние, как бы страстно оно ни было. Поэма одновременно и величественный эпос — правда, не героический, эпос «без героя». Две части этого эпоса самоочевидны: старый мир накануне своей гибели; новый мир накануне и во время войны. Но есть в «Поэме» и третья тема. Это третье дно шкатулки запрятано и замаскировано — отчасти в результате купюр (строфы X, XI и XII второй части), купюр, которые Ахматова иронически объясняет как «подражание Пушкину», отчасти же в результате

нарочитой неясности, которую Ахматова вносит в поэму.

Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила...
И зеркальным письмом пишу,
А другой мне дороги нету.

Это тема «великой молчальницы-эпохи», сталинского безвременья. О трактовке этой зашифрованной темы можно судить только по отдельным пассажам, например, по трем невычеркнутым Ахматовой строчкам строфы X, второй части:

И проходят десятилетья:
Войны, смерти, рожденья — петь я,
Вы же видите, не могу.

Тут же, в IX строфе, слова о Седьмой симфонии Шостаковича, как бы ненароком затесавшиеся сюда из третьей части, где им полагается быть по ходу фабулы:

И со мною моя «Седьмая»,
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской
И сухою землею набит.

Это же третье дно в особенно страшной форме выходит на поверхность в третьей части, где внезапный перебой ритма выделяет его из потока плавной поэтической речи:

А за проволокой колючей
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год —
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки Безносой

Суждено охранять его.
И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо! —
Звуки голоса своего:
За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.

И здесь налицо все та же триада: 1) время: «ровно десять лет» — опять поразительная историческая точность Ахматовой). «Десять лет» это пора с 1946-го (ждановская травля Ахматовой) по 1956-ой (освобождение сына и «реабилитация» самой Ахматовой); 2) смерть — «Девка Безносая» — и 3) покаяние: ведь допрашивается «двойник» не лагерным начальством, а кем-то близким Ахматовой, перед которым она оправдывается.

Надо надеяться, что со временем отыщутся и будут опубликованы и ранние версии поэмы. В тексте, предлагаемом читателям в этом томе, есть — помимо открытых купюр — и купюры скрытые. Так, весьма вероятно, что за «лагерным отрывком» следовали еще какие-то строки, так как переход к следующему за отрывком обращению к родному городу («а не ставший моей могилой» и т. д.) структурно не оправдан: ему, повидимому, предшествовало что-то другое.

Вкраплены в поэму и просветы в еще одно время — в будущее. Таинственный образ «гостя из будущего», который предстоял ахматовскому воображению много лет, играет повидимому ключевую роль в этих прозрениях. Но здесь «зеркальное письмо» становится настолько сложным, что мы не можем его прочесть.

* *
*

Ахматовская поэзия совмещает в себе три элемента — классическую строгость, лирическую насыщенность и кон-

кретную точность. Это сочетание само по себе редкое. Но в данном случае оно венчается тем, что Ахматова называет «таинственным песенным даром», открытостью души Музе.

Устами большого поэта говорит правда. Правда — всегда и везде редкость. Но в том мире миража и обмана, в котором Ахматова прожила свою большую и трагическую жизнь, этот голос правды звучал и звучит как трубный глас. В эпоху, когда свыше навязывался притворный и приторный оптимизм, Ахматова говорила свое; говорила о том, что важнее всего человеку — о смерти, о старости, об одиночестве, о бездомности, о вдохновении, и говорила неповторимо простым и мудрым языком.

О старости:

И не с кем плакать,
Не с кем вспоминать.

Об изгнании:

Горька твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

Об одиночестве:

Как хорошо, что некого терять
И можно плакать.

Об эпохе:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула,
Мне подменили жизнь.
В другое русло
Мимо другого потекла она.

О горе:

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

Вот почему Ахматова, вовсе не борец по своему характеру, стала самым чистым, самым трезвым, самым совестливым, самым важным голосом в России.

Печатается по изданию: *Ахматова А.* Сочинения. т. 2, Мюнхен, 1968

Никита Струве. Восемь часов с Анной Ахматовой

Как известно, в последних числах мая 1965 года Ахматова, в сопровождении своей внучки par alliance, Ани Каминской, приехала в Англию для получения в Оксфорде звания доктора honoris causa. На обратном пути ей было разрешено остановиться на два дня в Париже, куда она приехала в четверг 17-го июня вечером. Так как на воскресенье все места в московском поезде были уже заняты, то Ахматовой поневоле разрешили остаться в Париже лишний день. Помимо Ани Каминской, из Лондона в Париж Ахматову сопровождала студентка из Америки, Аманда Хэйт.

За эти дни у меня было с Ахматовой три встречи, продолжавшиеся в общей сложности более восьми часов. После отъезда Анны Андреевны я сразу же записал содержание наших бесед, причем старался как можно точнее воспроизвести слова Анны Андреевны, сохранить ее интонации. Старался также представить наши беседы возможно полнее, но, разумеется, память не все сохранила, а кое-что, более личное или относящееся к людям еще живым, опущено сознательно.

Как было условлено, в субботу 19-го июня, ровно в 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», в которой остановилась Ахматова.[1] Прошу обо мне доложить. В этот момент раздается телефонный звонок. Служащий передает мне трубку: «Это вам». И слышу медленный, густой, глубинный голос: «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе, сажусь в машину».

Отвечаю нелепо, оробев: «Вас можно подождать?» Тот же голос, возмущенно-ласковый: «Ну конечно, я для этого и звоню, сейчас еду».

Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой! Тут было от чего смутиться... Ведь Ахматова была для меня прежде всего представительницей серебряного века, нав-

---

[1] Возле Триумфальной Арки. Владельцем гостиницы оказался сын С. Маковского, который, когда узнал о приезде Ахматовой, немедленно предоставил ей бесплатную комнату.

сегда ушедшего в прошлое, женой давно погибшего, с детства еще любимого, поэта, «предметом» литературного изучения. В Сорбонне читал лекции о Гумилеве, в стихах которого вставал таинственный образ «враждующей» подруги:

Из города Киева,
Из логова змиева,
Я взял не жену, а колдунью.

Читал и о самой Ахматовой, составив небольшую антологию ее стихов, вышедшую на ротаторе, в издательстве Имка-Пресс, под названием «*Пятьдесят стихотворений*». Правда, за последние годы образ Ахматовой из туманной литературной дали приблизился. Зазвучал с пластинки ее живой голос, такой исключительный, такой неповторимый: кто хоть раз его слышал, тот уже не может отделить его от ее поэзии. Магнитофонная запись передала непринужденную беседу Ахматовой с одной из моих студенток... Но встреча с Ахматовой казалась по-прежнему недостижимой, немыслимой.

И вдруг, в телефонную трубку: «Здесь Ахматова».

Минут через двадцать подъезжает машина, подхожу, лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой, глаза сияют весельем и добротой — это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. Неслучайно Анна Андреевна не любила сниматься, чувствуется, что перед фотографом она всегда позировала, каменела, и на пленке запечатлевался лишь внешний ее облик, часто на нее совсем не похожий (эта окаменелость отчасти передалась и ее портретам).

— «Вы по мою душу, идемте». Идет в сопровождении студентки-американки, под руку, с трудом передвигая тяжелые ноги, величественно и повелительно. «Куда? ...Туда?»

В лифте. Как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором *Четок* и *Реквиема!*

— «Была точь-в-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжала из Парижа». На мой вопрос: узнаваем ли Париж? — «Нет, совсем неузнаваем, это не тот город».

Входя в комнату, где, по-русски, всюду что-то валялось: — «Боже, какой беспорядок!». Садится, спиной к окну, в кресло, на котором так и будет сидеть, не вставая даже на звонки, отвечать на которые придется самим посетителям.

«Ну, садитесь ближе, я глухая. Спрашивайте, я, как Ларусс, отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам» (Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы). Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем в *Воздушных Путях*.

— «Жена Осипа Эмильевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг, лучшее, что есть во мне.[2] С оттенком задумчивости и грусти: «Это был на редкость счастливый брак». «Правда, Мандельштам влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен три раза. Любил говорить: Наденька, наши стихи любят только твоя мама да Анна Андреевна... Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят, от того же умер и Зощенко, превратившийся перед смертью в собственную тень».

Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал в Сорбонне лекции почти о всех главных поэтах XX-го века, но труднее всего мне было читать именно о ней. Ахматова ответила:

— «Да, это простительно — не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано».

Но чтó это главное, не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию *Сон во сне*, цикл *Черепки*, близкий к *Реквиему*, цикл *Черные песни*. Перепутав оба названия, я как-то переспросил: «Черные песни, это то, что близко к Реквиему?», на что она ответила — «C'est tout le contraire...»...

---

[2] Ср. такое же замечательное определение дружбы в стихотворении 1964 года памяти В. С. Срезневской, друга всей жизни:

> И мнится, что души отъяли половину —
> Ту, что была тобой — в ней знала я причину
> Чего-то главного...

— «Но вот, как бывает, продолжала она, недавно, в связи с моим семидесятипятилетием, в *Новом Мире* разрешили что-то пикнуть, поручили написать заметку Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял, а вот Н. В. Недоброво знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь, ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек *Русской Мысли* за 1915 год, лучшее, что обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бернгардович, ее заказал. А с Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать, ведь он такой хороший, его так молодежь любит...»

Ахматова тяготилась тем, что для многих она осталась поэтом *Четок* и *Белой стаи*, и винила в этом эмигрантских критиков: — «Откуда это они взяли, не понимаю, всюду это пишут, что я 18 лет молчала? По какой это арифметике они учились? Ведь вот я только что записала: у меня 9 стихотворений 1936 года, уж не говоря о *Реквиеме*, начатом в 1935 году; есть стихи и в 1924 году, и в 1929 году. А вот что меня не печатали, это верно! Как было в 1925 г. постановление Центрального Комитета Партии — я тогда еще толком не знала, что такое Центральный Комитет, в голову не приходило — постановление Ахматову не печатать, а потом уж пошло, как у вас говорится: "comme sur des roulettes", но из этого совершенно не следует, что я молчала. Надеюсь, прибавила она, я вас достаточно убедила».[3]

— «Целых пять раз меня печатали, но не издавали: когда книга была набрана, приходило распоряжение сжечь ее или извести на бумагу... Но некоторые экземпляры сохранились, недавно мне Сурков один такой экземпляр принес, из архива Еголина, кажется».

Насколько помню, речь шла об издании сборника Ахматовой в 1946 г., перед самым постановлением Жданова.

Анна Андреевна держала в руках небольшую книжечку в сафьяновом переплете, подаренную ей в Англии; в ней

---

[3] См. на ту же тему, со слов Ахматовой, в книге Льва Озерова, *Работа поэта*, стр. 193. Слово «молчала» Ахматова понимала в буквальном смысле, тогда как часто критики имели в виду отсутствие печатных произведений.

были записаны разные имена, поручения и ряд неизданных стихов, записанных на память:

— «Вот видите эту книжечку? Завтра перед отъездом я ее сожгу...»

— «Что вы, что вы, оставьте ее здесь».

— «Ну, это нет! — Вот этими руками два раза я сжигала свои архивы. Когда я написала трагедию *Сон во сне* в Ташкенте, а потом вернулась в Петербург, вскоре после конца блокады (в июне 1944 г.) — между прочим, это был страшный город, покрытый толстым слоем битого стекла, его убирали, но его столько было, что все равно ходили по стеклу — я сразу поняла, какое было настроение, и сожгла трагедию».

— «Представьте только себе, в течение 15 лет я ни разу не вошла в свой дом без того, чтобы сразу за мной не вошло два человека... Мне не верили, когда я это рассказывала, а сын одной моей подруги даже решил проверить и как-то со мной пошел, ну и убедился на деле...»

Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе «голубоглазого гимназистика» Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 1917 году священником. Ахматова задумалась, переспросила:

— «А вам это действительно интересно? Рассказать? Это страшная история... Его взяли в 1937 году, в тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас, жил на попечении дочерей, в каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу... А раз как-то он выбежал полуодетый на улицу и спросил первого попавшегося милиционера: — Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти. — А тот ему ответил: — Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют. — Ну, а потом он умер, что называется, своею смертью».

Спросил я и о судьбе другого поэта-символиста, В. Пяста, о котором, с чьих-то слов, А. М. Ремизов мне рассказывал, что он покончил с собой.

— «Что вы, зачем, — удивилась Анна Андреевна, — ведь он был совсем сумасшедший, настоящий шизофреник, зачем ему было кончать с собой, он умер своею смертью».

Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней и о других злополучных возвращенцах. Ахматова стала вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 1940 году, в Москве:

— «Шли мы как-то вместе по Марьиной роще, а за нами два человека шло, и я все думала, за кем это они следят, за мной или за ней?...» Я спросил:—«После этой встречи вы и написали "Невидимка, двойник, пересмешник?"» (стихотворение, посвященное возвращению Цветаевой и трагедии, постигшей ее семью).

— «Нет, это было уже написано, но я не посмела тогда ей это прочесть. Вас это наверное удивляет? — Некоторые считают, что ее гибели были и творческие причины, говорят, она написала поэму, совсем заумную, всю из отдельных, вылитых строк, но без всякой связи... Конечно, такую поэму можно написать только одну, второй не напишешь».

— «Но я слышал, что и сын ее сыграл роковую роль своими упреками?»

— «Да,—подтвердила Анна Андреевна,—это верно, так обыкновенно бывает, когда безумна родительская любовь, балуют, ну а потом так оборачивается,—он даже на похороны не пошел... Я его хорошо знала в Ташкенте. Он там жил в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать; этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестным; никакого официального сообщения о том, что он пал смертью храбрых,—не было. Он такой был, что мог быть убит и как дезиртир или еще как-нибудь».[4]

Об известном литературоведе, князе Дмитрии Святополк-Мирском, вернувшемся в Россию в начале 30-х годов, Ахматова выразилась так:

— «И зачем он только вернулся, такой был красивый, умный... Умер он не сразу, но страшной, ужасной смертью, где-то на Колыме... Вот и он очень хорошо обо мне написал, всего несколько фраз в своей маленькой истории русской литературы на английском языке».

---

[4] Есть версия, согласно которой сын Цветаевой был отправлен в штрафной батальон.

Говорила Анна Андреевна и о трагической судьбе Гаяны, дочери поэтессы матери Марии Скобцовой.

— «У Алексея Толстого, который соблазнил ее вернуться, ей было очень плохо, она должна была от него выехать и через несколько дней умерла в больнице, якобы от тифа, но ведь от тифа так быстро не умирают... Алексей Толстой был на все способен».

Во время этой первой беседы с Ахматовой зашел ее старый знакомый, Сергей Ростиславович Эрнст. Ахматова уже успела с ним повидаться и сказала мне властно:

— «Уходить не надо».

С. Р. Эрнст, знавший хорошо Кузмина, спросил о его судьбе:

— «Ну, Кузмин умер собственной смертью, у него было несколько сердечных припадков, его отвезли в госпиталь, там его ко всему еще и простудили. Умер он без свидетелей. Его друг Юркун, к тому времени уже женившийся, был при нем, но в момент смерти не был, куда-то вышел. Смерть его в 1936 году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году. Единственный раз, когда меня вызывали в прокуратуру, это было не так давно, для " закрытия дела" Бенедикта Лившица, расстрелянного в 1938 году. Вам, наверное, не очень ясно, что значит "закрыть дело", и для чего я им понадобилась? Дело в том, что им непременно нужен кто-нибудь не из своих, чтобы свидетельствовать о невиновности расстрелянных. Если к своим обращаться, то уж наверняка какое-нибудь новое дело откроется. Вызывали на пятый этаж без лифта. Я им говорю: "Высоко очень, мне трудно". А они отвечают: "Ничего, медленно пойдете..." Так там, в этом деле, было много разных имен, среди них и имя Кузмина».

Эрнст интересовался портретами Ахматовой, старался, вместе с ней, их все перечислить. А Ахматова комментировала:

— «Фаворского ужасен, Сорина — прямо конфетная коробка..., у меня висит только один — Модильяни».

Эрнст стал вспоминать, кто писал Ахматовой в альбом:

— «Да мне многие в альбом писали, а потом я этот альбом в музее увидела. Страшно это неприятно видеть свои

9—584

вещи в музее, ничего нельзя изменить уже, ни одной запятой... Все мы это так перед грозой отдавали свои альбомы Бонч-Бруевичу, а он их скупал для государственного архива».[5]

Ахматова показала нам переводы своих стихов на иностранные языки: «Вот смотрите, целых три издания на итальянском языке. Как вы думаете, к чему бы это? Мне кажется, это все неспроста». Вероятно, она намекала на возможность получения Нобелевской премии...

Несколько раз Анна Андреевна вспоминала Оксфордское торжество:

— «А Вознесенский, который в то время был в Англии, даже не удосужился приехать. Зато Райкин был. Как? вы не знаете, кто такой Аркадий Райкин? Самый знаменитый человек в России... Он потом пришел меня поздравить, и, показав большим и указательным пальцем размер яйца, добавила: «Вот какие слезы у него были на глазах!»

Я обмолвился, что у меня в кармане был билет в Англию, но что в последнюю минуту поехать я не смог.

— «Что вы!»

— «Знаете, у нас это все легко, рукой подать».

— «Да, ответила Анна Андреевна задумчиво-грустно, у вас все рукой подать. А у нас отняли пространство, время, все отняли, ничего не осталось...». Но на следующий день: «У нас молодежь хорошая, читающая, и критики будут, все будет».

Потом, как-то неожиданно Анна Андреевна сама предложила нам почитать стихи. С. Р. Эрнст сказал: «Прочтите нам что-нибудь из *Четок*». Но Ахматова поморщилась и ответила:

— «Зачем? Это вы сами можете прочесть. Лучше я вам прочту то, чего вы не знаете. Какая у вас память?»

Несколько растерявшись, я ответил: «Посредственная».

— «Ну, тогда можно. А то у нас в России у всех память баснословная. Вот я как-то прочла кому-то одну песенку, а на следующий день ее вся Москва уже распевала».

---

[5] Согласно *Путеводителю* по Центральному Архиву, альбом Ахматовой поступил в 1933 г.

И Анна Андреевна начала читать... Описать словами волшебство ее чтения невозможно. Добродушно-насмешливая улыбка, не покидавшая ее во время разговора, исчезла. Лицо сделалось еще сосредоточеннее, еще серьезнее. Стихи как бы росли изнутри, рождались заново. Сначала Анна Андреевна прочла нам до сих пор неизданное маленькое стихотворение *Немного географии*, посвященное местам ссылки сына и, если не ошибаюсь, Мандельштама: «Только не запоминайте!» Прочтя, пояснила: «А вы заметили, как оно построено,— целиком на одной фразе».

На следующий день я спросил, нельзя ли записать на ленту. Анна Андреевна отказалась наотрез:

— «Вам будет немного географии, а мне премного неприятностей». Перед тем, как прочесть стихотворение *Мелхола*, она спросила, знаем ли мы эту любовную историю из *Книги Царств*. Мы должны были признаться, что не имеем о ней никакого понятия. И Анна Андреевна нам подробно передала библейский рассказ. Прочтя стихи, спросила: — «Она похожа на двух моих других библейских жен?» Я ответил, что первые две, Лотова жена и Рахиль, похожи, а что эта третья несколько иная. Анна Андреевна не возразила:

— «Может быть».

Читала она и из *Трагедии* и в нескольких словах коснулась ее содержания:

— «Там у меня свой театр на сцене, и свои зрители... Очень этой моей трагедией интересуется Дюссельдорфский театр, шлет телеграммы, просит выслать рукопись для постановки, даже не зная, в чем там дело. Перед самым отъездом получила телеграмму, не остановлюсь ли я в Дюссельдорфе, обещали целиком оплатить пребывание... вообще, прямо как пятьдесят лет назад».

Но, может быть, самое сильное впечатление в тот день осталось от ее чтения *Пятой Северной элегии*:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь...

. . . .

Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала,
И сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызвать слезы.

В Париже, где вновь Ахматова встречала друзей после полувековой разлуки, эти стихи звучали с удвоенной силой.

После чтения стихов разговор уже не возобновлялся. Вскоре послышался стук в дверь. Вошел посетитель, граф З., близкий друг Анны Андреевны по Петербургу, с которым она не виделась около 50 лет. На прощание Анна Андреевна мне сказала: «Позвоните мне еще». Перед тем как выйти из комнаты я еще раз обернулся. Анна Андреевна пристально и ласково смотрела на своего, совсем уже старенького на вид, посетителя и сказала:

— «Ну вот, привел Господь еще раз нам свидеться...»

* *
*

На следующий день, в воскресенье 20-го июня, мне было назначено быть в гостинице в восемь часов вечера. Шел я в этот раз на свиданье «со страхом и трепетом». Анна Андреевна сидела на том же месте, более нарядная, чем накануне, в синем платье с белой вышивкой, купленном, как мне потом сказали, в Лондоне. Аня Каминская и Аманда шли в театр и просили меня сидеть как можно дольше, до их возвращения, чтобы Анна Андреевна не беспокоилась. Я не мог не признаться в своем страхе остаться наедине с Ахматовой. Хотя я и сказал это вполголоса, Анна Андреевна услышала. Тогда я ей объяснил: «Вчера я не боялся, а сегодня боюсь!» — «Почему так?» — «Потому что вчера не знал, а теперь знаю...» — «Интересно». Тут вступилась Аня Каминская: — «Вот видите, бабушка, какой вы страх на всех наводите. Да, это со всеми так, все боятся». В этот момент кто-то прислал анонимно — «классическую» шаль. Анна Андреевна посмотрела на нее как-то грустно-безучастно: — «У меня такая ужасная черта, я все подарки передариваю. И мои друзья это знают и больше ничего не дарят. Все это пойдет кому-то...»

Когда «девки», как Ахматова шутя называла своих спутниц, стали уходить, Анна Андреевна обратилась ко мне: — «Я вам прочту *Стансы*». Но тут ей напомнили, что я принес магнитофон и что, может быть, она не откажется записать стихи на ленту. Я стал отнекиваться, мол, «не хочу неволить». Ахматова рассмеялась: «Ничего себе получается!». Но так *Стансов* я и не услышал...

Ахматова, несмотря на усталость, согласилась наговорить на ленту свои стихи. Несколько раз, по моей вине, начинала чтение сначала. Но разговор записать не позволила: — «Знаете, на одном обеде в Москве я как-то разразилась гневной тирадой против Натальи Николаевны Пушкиной, а хозяин тайком записал на ленту мое красноречие. Представляете себе, какая подлость!» Записав пять стихотворений: «Теперь хватит, я устала». Я сказал, что все эти парижские встречи, вероятно, не проходят даром. «Да, это просто какой-то бред, сама себе не верю». — «А я тут еще отнимаю у вас время...»

— «Что вы, что вы, это совсем другое. Вы себе не представляете вашего преимущества. Вы же новый человек».

В комнате стемнело. Наступила тишина. Я спросил, всегда ли Анна Андреевна летом живет в Комарове. Она ответила задумчиво: — «Да, там кукушка поет и сосны шумят».

На столе лежал номер *Воздушных Путей* с ее воспоминаниями о Модильяни и Мандельштаме:

— «Я еще не видела, что они там напечатали, ну оскоромлюсь, посмотрю».

— «Там — говорю я — полный, как будто, текст, все инициалы раскрыты, очень Городецкому достается».

— «Ну, этот еще не такого заслуживает». Смотрит книжку: — «Нет, ничего, главное не напечатано». Увидя рядом напечатанные воспоминания Е. Тагер: — «Я вижу, вы меня тут разбавляете. Тагер была очень хороший человек, но Мандельштама знала мало».

Анна Андреевна спросила мое мнение о воспоминаниях. Я ответил:

— «Это просто музыка». — «Да? проза поэта?» Я пояснил свое впечатление: «Да, но это прежде всего проза». Анне Андреевне этот отзыв очень пришелся по сердцу.

— «А правда ли, спросила она меня, что вы в Россию ко-

му-то написали о моих воспоминаниях: "Je possède les feuillets du journal de Sapho"»? *

— «Никогда в жизни такого не писал...»

— «Ну вот, верь потом людям».

Я осведомился, скоро ли будут перепечатаны ее три статьи о Пушкине.—«Валяются в ногах, чтобы их издать, но у меня нет времени, все переводить надо».

— «А разве они не кончены?»

— «С Пушкиным никогда ничего не кончено».

— «А как обстоит дело с вашей книгой *Гибель Пушкина*?»

— «Мне не хватает одного документа, письма Николая I к послу X (к сожалению, я не запомнил имени посла. Насколько помню, речь шла не о Геккерне). Оно было послано с кем-то, из боязни цензуры! До чего дошли, даже царские письма перлюстрировали! Я Николая I не люблю, не за что его любить... Всё красотки, мундиры... Так вот, это письмо у голландцев, а они его не выдают. Мне даже фотокопия не нужна, только бы заглянуть... Да, в своей книге я дошла до любопытного заключения, что главные виновники гибели Пушкина — его же друзья, которые тогда составляли то, что называется bande joyeuse, ни о чем не заботящиеся...»

— «Ваша книга была написана до Нижне-Тагильской находки. Подтверждает ли эта находка ваше заключение?»

— «Да, это одновременно и лестно и горько. То, что я предвосхитила, подтверждается письмами Карамзиных. Так что теперь мне только расставить цитаты. Какие безответственные друзья! Никому таких не пожелаю. Меня даже не умиляет, когда Карамзина благословляет умирающего Пушкина. Ей бы все показать, как незаслуженно хорошо относился Государь к Пушкину, мол, не чета ее мужу. А Софья, которая больше заботится о Дантесе...»

— «Я слышал, что ваш редактор требовал от вас каких-то изменений, и что вы чуть ли не спустили его с лестницы?»

— «Нет, такого не было. Но контракт на эту книгу я не подписываю, боюсь — дадут деньги, а издать не издадут».

Заговорили о переводах. Себя Анна Андреевна считала непереводимой.—«Мандельштама, по-моему, еще можно

---

* «В моем распоряжении листки из дневника Сафо» (фран.).

переводить, а меня уж совсем нельзя». В то время Анна Андреевна переводила Леопарди. Я должен был признать, что совершенно его не знаю, ее это удивило.

— «Не кажется ли вам, что переводить страшно легко? Мне даже кажется иногда, что я как бы кого-то обманываю, так это легко получается». В другой беседе Ахматова жаловалась, что ей приходится переводить поэтесс, которые ей же подражают: «Омерзительнейшая работа».

К 10 часам вечера к Ахматовой пришел А. С. Б., много потрудившийся, чтобы найти Анне Андреевне комнату в переполненном Париже.

Это был «обычный» посетитель, уходить не надо было. А. С. Б. упомянул об инциденте, происшедшем накануне: один из знакомых Анны Андреевны обозвал Аню Каминскую «не русской» за ее польское происхождение и принадлежность к комсомолу. Анна Андреевна спокойно и твердо ответила: — «Мне кажется, что пока живы, мы должны друг другу помогать, подбодрять друг друга, а такими словами делу не поможешь... И это Аня не русская! Она, которая в 1941 году все сосала пустую соску, ехала с родителями дорогою смерти через Ладожское озеро, а когда ехали, от бомбежки на ней три раза загоралась шубка...»

Говорили о возможно скором возвращении Анны Андреевны в Париж, о чем она очень мечтала, — «на этот раз не инкогнито, а официально». Намечалось приглашение от французского правительства. Сурков обещал взять Анну Андреевну на переговоры с Пен-Клубом. Возможностей как будто было много, но, перебирая их, Ахматова делалась грустной: она знала, что все эти поездки висели на волоске из-за ее здоровья. С собой в Россию она везла целую библиотеку, главным образом, английских книг: — «Особенно горю нетерпением прочесть дневник Кафки, у меня он по-английски, так как по-немецки мне читать трудно».

О той или иной книге Анна Андреевна спрашивала: — «Как вы думаете, можно везти? Не отберут?» Мы отвечали: — «Уж вас осматривать не будут».

— «Может быть... Когда я ехала из Италии, меня не только не осматривали, но на таможне служащие попросили надписать им книги. Я сказала, что у меня своих книг нет, а они откуда-то сами достали».

Я показал Анне Андреевне ротаторное издание 50 стихотворений, объяснив, что это было сделано для нужд студентов:

— «А то мы в Москве не понимали, что же это вы в Париже докатились до ротаторных изданий».

Постепенно разговор перешел снова на литературные темы.—«Да, Иннокентий Анненский грандиозный поэт, из него все вышли. Из Блока никто не мог выйти, слишком он был совершенен. А из Анненского — все: дожди предвещают Пастернака, его — ливни, *Диди-Ладо* — Хлебникова, *Шарики детские* — Маяковского...»

Я тут опрометчиво перебил: — *«Диди-Ладо, Шарики детские* — далеко не лучшее, что Анненский написал». Анна Андреевна нахмурилась: — «Дело не в том, что лучше и что хуже, а во влиянии; я вам сейчас свои мысли говорю, об этом еще мало знают».

А. С. Б. спросил, издают ли теперь Анненского? «Что значит — издают? Издали в 1959 году однотомник, но книга не сразу распродалась, они и не переиздают. Варвары! Они не понимают, что хорошая книга должна полежать...»

— «Совсем не мы с Гумилевым,— продолжала Анна Андреевна,— вытянули Анненского. Мы тогда были слишком молоды, у нас было то, что называется «богатая личная жизнь», мы не о том думали. И чего только мы не вытворяли. Помню, как я лазала по карнизам, это уж когда у меня ребенок был. Теперь я совершенно не понимаю, для чего это было нужно... Нет, Анненский попал в «Аполлон» через Вячеслава Иванова, который знал его как переводчика греков. Но Иванов и Маковский побаивались Анненского и приставили к нему Гумилева, чтобы контролировать его, но просчитались... А ценили стихи его мало... Вот Маковский даже выкинул из номера за 1909 год «Аполлона» стихи Анненского и заменил их этой непристойной мистификацией — Черубиной де Габриак.[6] Анненский очень

---

[6] Поэтесса Елизавета Ивановна Димитриева была превращена в таинственную Черубину де Габриак М. Волошиным. Жертвой мистификации оказался Маковский, влюбившийся заочно в свою корреспондентку. См. С. Маковский, *Портреты современников*, Нью-Йорк, 1955, стр. 333—358.

остро пережил это непонимание, у меня хранятся письма Анненского к Маковскому. Тогда же он написал свое, всем нам известное, стихотворение «Тоска»... Про «детей», которых «перевязали», «ослепили»,—это про стихи свои, совсем тут не любовь, как кто-то придумал. И умер... У меня об этом готовы страницы».

К Маковскому Ахматова относилась отрицательно, кажется, всю свою жизнь. Она его считала недоброжелательным и неправдивым критиком:—«Был покровителем "молодых", а они стали поэтами, на которых молятся, а он остался ни при чем, все от этого». К Георгию Иванову Ахматова относилась, пожалуй, еще более отрицательно. К Ирине Одоевцевой много мягче.

— «Волошин, Кузмин, Вячеслав Иванов—все они для нас больше не существуют.[7] Недавно я взяла Cor Ardens и нашла, что нечитаемо. В нем гораздо больше Бальмонта, чем мы думаем...» Я стал протестовать: «Все же не Бальмонта!» Но Ахматова была категорична:—«Да, да, именно Бальмонта. Даже удивительно, всеобъемлющий ум, а теперь читать трудно. Конечно, некоторые вещи—ничего. А вот, как они называются, да, *Зимние сонеты*, это—да».

Я предложил объяснение превосходства *Зимних сонетов* над остальными стихами Иванова:—«Не думаете ли вы, что это потому, что они пережиты, а не надуманы». Но Анну Андреевну это объяснение не удовлетворило:—«Пережить, возразила она, это недостаточно, а вот что он мог в 1919 году, когда мы все молчали, претворить свои чувства в искусство, вот это что-то значит».

У нас с А. С. Б., не помню по какому поводу, завязался спор о Брюсове. А. С. Б.утверждал, что во время его молодости, в 10-х годах, Брюсовым зачитывались, его поэзией увлекались, жили, значит—Брюсов все же настоящий поэт. Мы с Анной Андреевной поочередно нападали на А. С. Б., доказывая, что Брюсов не поэт:—«И Бенедиктова предпочитали Пушкину, воскликнула Анна Андреевна, и что из это-

---

[7] Это не совсем верно. В Сов. России среди молодых есть и поклонники Вячеслава Иванова.

го? Брюсов был отрицательная личность, я читала его дневник: он его вел, когда приход превышал расход, а потом бросил. Это страшный документ по ничтожеству и плоскости... Какое себялюбие, какая невежественность! Его невежество особенно сказалось в его изданиях — пушкинистам это очевидно. Поэт? Шумел, как шумят теперь Вознесенский и Евтушенко. А какая у него иссушающая, мертвящая критика... Ведь он проглядел Анненского!» А. С. Б. возразил: — «Но ведь и Блок проглядел Анненского...»[8] Анна Андреевна отпарировала: — «Чтó Блок, это не его дело, он не этим был занят». По поводу Блока я сказал: — «Странно, что Мандельштам так отбрасывал Блока в XIX век». Анна Андреевна ответила: — «Да, к Блоку Мандельштам был несправедлив. Мне, собственно, Блок теперь не нужен, но когда начнешь читать...» Заговорили о *Возмездии*.

— «Да, там есть хорошие места, по ведь в целом это заранее обреченная поэма. *Евгений Онегин* убил русскую поэму своим совершенством, и Баратынского и других, так уж было нельзя писать».

А. С. Б. вернулся к Брюсову: «Но ведь и Гумилев ученик Брюсова, посвятил ему *Жемчуга!*» Анна Андреевна возмутилась: «Это вы уж меня спрашивайте, это при мне было. Это страшная Колина глупость, я ему уже тогда говорила. Но он обязательно хотел поступить как Бодлер, который посвятил Теофилю Готье свои *Fleurs du Mal*. Вот и Коля так сделал... Но чтобы он был учеником Брюсова, сидел подле него, это нет. Все суют Leconte de Lisle'я Брюсова, но этим не объяснишь поэта *Памяти* и *Заблудившегося трамвая*».

Заговорили о Пастернаке. Я признался, что принимаю его наполовину. О поэзии Пастернака Анна Андреевна ничего не сказала, но о человеке выразилась несколько загадочно: — «Я до сих пор думала, что я одна понимаю Пастернака. А вот в Англии я встретила человека, который понял его тоже до конца. Пастернак — «божественный лицемер», как

---

[8] Не совсем точно, что Блок проглядел Анненского: см. его рецензию на *Тихие песни*.

выразился обо мне мой соавтор по переводам».[9]

— «А Цветаеву вы любите?»—обратилась ко мне Анна Андреевна. Я ответил, что люблю ее ранние, юношеские стихи, до фокусов.

— «У нас,—сказала она,—сейчас страшно увлекаются Цветаевой, но я считаю, что это отчасти потому, что у нас совершенно не знают Белого, а у Цветаевой очень много от Белого».

Вся эта «беседа о стихах», как назвала ее Анна Андреевна в надписи на моем экземпляре ее сборника, изданного Чеховским издательством, шла очень оживленно, я бы сказал, с вдохновением. После нее Анна Андреевна снова стала читать стихи, сама предложила их записать на ленту. В частности, она прочла таинственное *Зазеркалье* из *Полночных стихов:* «Красотка очень молода», которое не было пропущено цензурой при напечатании всего цикла в *Дне Поэзии* за 1964 год.[10]—«По-моему, сказала она, *Полночные стихи*—лучшее, что я написала... Но даже такой замечательный знаток нашей поэзии, как Лидия Гинзбург, недоумевает, кому они посвящены». В связи с этим Анна Андреевна упомянула, что у ней имеется читатель номер 1, которому первому читаются ее произведения, но этого таинственного читателя она не назвала.

Было уже совсем поздно. Разговор иногда замирал. В одно из молчаний Анна Андреевна вздохнула:—«Ну, что это со мной мои девки делают! Куда они исчезли!» Но вскоре беседа снова полилась оживленно. Анна Андреевна меня спросила:—«Вы любите Паустовского?» Я ответил, что его воспоминания мне кажутся интересными, как документальная повесть. О них Анна Андреевна ничего не сказала, но заметила:—«Вел и ведет он себя безупречно, но писатель он не особенный». Я согласился: «Да, это не то что Солжени-

---

[9] Вероятно, Найман. В применении к Ахматовой это выражение относится не к человеку, а к переводчику.

[10] В беседе с другим человеком Анна Андреевна про «*Зазеркалье*» сказала: «Вам не кажется, что это очень страшная вещь. Мне всегда страшно, когда я ее читаю».

цын». Ахматова подхватила:—«Да. Когда вышла его большая вещь *(Один день Ивана Денисовича)* я сказала: это должны прочесть все 200 миллионов. А когда я читала *Матренин двор*, я плакала, а я редко плачу. А вот его маленькие поэмы в прозе мне что-то не очень нравятся. Человек он очень хороший, очень порядочный. Он был у меня, читал мне поэму, длинную-предлинную, в 10000 стихов, которая ему спасла жизнь в лагерях. Он, кажется, ее потом, уже на свободе, всю по памяти записал. Я сказала: «Не печатайте. Пишите прозой, в прозе вы неуязвимы, а в стихах ваших мало тайны». А он ответил: «А в ваших стихах, не слишком ли много тайны?» Но, в общем, он принял это хорошо, однако больше не вернулся. Но две вещи мне в нем не понравились. Во-первых, он сказал, что *Реквием* не то, потому что там только мать и сын, а нужно другое, не частное, а общее. Во-вторых, он удивился названию—неужели Реквием можно служить по простым людям, он думал, что Реквием— это только для царей и епископов».

Я удивился: «Как это так ?»

— «Да он в прошлом инженер-химик, прошел советскую школу, это не то что вас тут всему учили...»

Из молодых поэтов Анна Андреевна выделяла особо Бродского. С некоторым опасением она нас спросила:—«А вам не нравятся его стихи? Ведь это настоящий вундеркинд. На процессе он держал себя замечательно: все девчонки в него влюбились». И процитировала задумчиво-грустно:

Ни земли, ни погоста
Не хочу выбирать:
На Васильевский остров
Я приду умирать...

«А теперь он на каторге...»

— «Но, говорят, в своем совхозе он на свободе?»—«Да, ответила Анна Андреевна, но на этом его свобода кончается. Нам перед отъездом сказали опять, что его освободят, ну понятно, для чего сказали. Мы звонили в Москву, но там ни слуху, ни духу...»[11]. Из поэтесс Ахматова высокую оценку дала Марии Петровых. Ее имя, как и ряд других, мало

---

[11] Как известно, Бродский был освобожден осенью 1965 года.

известных на Западе, она указала в интервью, данном «Таймсу»: «Многих я думаю этим спасти, ведь некоторые буквально сходят с ума, оттого что их не печатают».

Беседа наша не умолкала несмотря на то, что было уже далеко за полночь, когда в комнату ворвалась bande joyeuse,— Аня, Аманда и еще чета французских студентов, встречавшихся с Ахматовой уже в России. Они наполнили комнату молодостью, весельем, шумом, но нарушили мирное, исполненное поэзии настроение, царившее до них. Мне показалось, что Анна Андреевна взгрустнула, может быть, просто от усталости. Я стал прощаться. Анна Андреевна предложила, чтобы магнитофон переночевал у нее до следующего утра. Я понял это, как разрешение приехать еще раз проститься перед отъездом.

* *
*

На следующее утро я прибыл в гостиницу часам к десяти. У Ахматовой были уже посетители. Она сидела на прежнем месте, но на вчерашнюю Ахматову, полную силы и вдохновения, не была похожа. Ею овладело свойственное ей предпутешественное беспокойство: — «У меня ужасная черта,— объяснила она мне,— перед отъездом я не могу успокоиться, пока не сяду в поезд... Нет,— засмеялась она,— чтобы поезд шел, мне не нужно, просто усесться в вагоне». Анна Андреевна боялась сердечного припадка, но заблаговременно приняла лекарство, чтобы предотвратить его. Выражение ее лица было совсем простое, удивительно доброе. Насколько помню, она была в платке, и это придавало ей еще больше простоты. Видно было, что все силы ее уходили на то, чтобы сохранить самообладание: все, что было в ней царственного, величественного, как-то исчезло, заменилось беспомощностью. Вести разговор было нелегко, в комнату все время входили люди. В какой-то момент, по ее просьбе, я подсел к ней. Она вынула из сумки фотографию и рукопись: — «Смотрите, мне только что принесли». Это была семейная фотография 1916 года: слева Гумилев в форме, перед отъездом на фронт, «с одним Георгием»,

как пояснила она мне, справа Ахматова, посередине сын[12]. Чувствуется отчужденность и вместе с тем какой-то мир. Я это сказал Анне Андреевне. Она отнеслась недоверчиво: — «Мир? Не знаю». Рукопись была написана рукой Гумилева: шуточное стихотворение и рисунок в красках.

Я спросил Анну Андреевну, считает ли она целесообразным, чтобы я писал о Мандельштаме, выразив при этом скептический взгляд на литературную критику, стоит ли, мол, облеплять поэзию скучной прозой. Но Ахматова была другого мнения о критике: — «Это ведь тоже творчество. Конечно, пишите о Мандельштаме, а я вас благославляю писать о *Полночных стихах*». Анна Андреевна стала собираться в путь. Но внизу, в приемной гостиницы, ей пришлось еще некоторое время подождать — посольская машина запаздывала. Одно время она оказалась одна, и меня попросили к ней подсесть, занять ее разговором, чтобы успокоить ее волнение. Мы поговорили о стихах Мандельштама, ей посвященных, о его стихах, посвященных О. Ваксель — «Возможна ли женщине мертвой хвала». — «Не правда ли, — сказала Анна Андреевна, — дивные стихи?» Тут подъехала машина, и Анна Андреевна сказала мне на прощанье: «Да хранит вас Господь», а, обернувшись к подходящим к ней молодчикам из посольства, с оттенком удивления, но не без добродушия: «Это и есть посольство?»

* *
*

Как-то, во время первой беседы, Ахматова обратилась ко мне и с веселым любопытством спросила: — «А вы думали, Ахматова такая?» — Я ответил совсем искренно: «Да, такая». Но, может быть, я был бы еще правдивее, если бы сказал: «Нет, такого я не ожидал». Да, я знал, что встречу в первый и, вероятно, в последний раз в жизни, великого поэта. Но из Англии писали, что Ахматова уже не та, надломленная, больная... Там ее видели на пьедестале, надменной, неприступной. А передо мной предстал не только великий

---

[12] Эта фотография была затем напечатана в *Русской Мысли* от 23-го апреля Петром Анненковым.

поэт, но и замечательный, необыкновенный, великий человек. Великий в своей простоте. Тут, в Париже, она со своего пьедестала сошла и была, быть может, благодаря многочисленным встречам со старыми друзьями, совсем простой, я бы сказал, домашней. Оживленная, добродушно-насмешливая, то веселая, то задумчиво-грустная, ласковая и щедрая, хотя и суровая в некоторых суждениях, Ахматова поражала своим твердым умом, своей взыскательной совестью и неподдельной добротой. Той добротой, о которой она сама сказала, что она «ненужный дар» ее «жестокой жизни».

Но, конечно, сверх всего и прежде всего, Ахматова поражала и покоряла той музыкой, той божественной гармонией, которая исходила из нее и все вокруг преображала. Не только в стихах, но всем существом своим,— и не в этом ли ее необычайность? Ахматова была самой поэзией, высшим и чистейшим ее воплощением.

Опубликовано впервые в книге: *Ахматова А.* Сочинения. Мюнхен, 1968, т. 2.

Среди упоминаемых в очерке Н. А. Струве лиц — Гаяна Дмитриевна Кузьмина-Караваева (1913—1936), искусствоведы Сергей Ростиславович Эрнст (1892—1980) и граф Валентин Платонович Зубов (1884—1969). Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890—1939), знакомый с Ахматовой еще с дореволюционных времен, с войсками Белой армии ушел за границу, в Англии стал членом коммунистической партии, вернулся в СССР и одно время был влиятельным литературным критиком, пока в 1937 году ему не припомнили его прошлое. В эмиграции он неоднократно писал об Ахматовой в своих обзорах русской литературы. В одном из них рассматриваются судьбы поэтов послесимволистского поколения — ушедших (Гумилев, Хлебников), тех, кто «давно перестали "считаться"» (Городецкий, Северянин), и третьих (Ахматова, Клюев), которые «удалились в пустыню, и если продолжают работать, то вне всякой мысли о воздействии на читателя».В этой же статье он говорил о том, что если бы в России существовали писатели-«академики», то ими должны были стать Ахматова, Замятин, Ходасевич и А. Толстой «за одно голое дарование».

Сведения о конце жизни сына Цветаевой Георгия Сергеевича Эфрона (1925—1944), дошедшие до Ахматовой, не верны: он не служил в штрафном батальоне, а был смертельно ранен в боях под Полоцком.

PRO DOMO SUA

Из очерка «Коротко о себе»

После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник», в 1922 году — книга «Anno Domini».

Примерно с середины двадцатых годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы — о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте». Все они в свое время были напечатаны.

Работы «Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина».

С середины двадцатых годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые — перепечатывать.

Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.

До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела.

В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.

Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так

поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки «Три сирени» и «В гостях у смерти» — последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зощенку. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем архивом.

Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила. Перевожу и сейчас.

В 1962 году я закончила «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.

Прошлой зимой, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи — побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж.

Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных.

1965

Из дневника

Марина ушла в заумь. См. «Поэма воздуха». Ей стало тесно в рамках Поэзии. Она dolphin-like, как говорит у Шекспира Клеопатра об Антонии. Ей было мало одной стихии, она удалилась в другую или другие.

Пастернак наоборот: он вернулся (в 1941 — Переделкинский цикл) из своей пастернаковской зауми в рамки обычной (если поэзия может быть обычной?) Поэзии. Сложнее и таинственнее был путь Мандельштама.

Pro domo sua[1] скажу, что я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась спуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро опускалось в колодец, рождая вместо отрадного всплеска удар сухой о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами.
«Знакомить слова», «сталкивать слова» — ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит, как банальность. Есть другой путь — точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже 1000 лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но когда это удается — люди говорят: «Это про меня, это как будто мною написано». Сама я тоже (очень редко) это испытываю при чтении чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагороднее.

X спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: «Их кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует, просто невозможно».

13 декабрая 1959

Во второй картине пятого действия «Антония и Клеопатры» Клеопатра говорит, что наслаждения Антония «были, как дельфины: они выносили его из той стихии, в которой сами обитали» («His delights / Were dolphin-like: they showed his back above / The element they liv'd in»).

\+ \+ \+

У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель.

---

[1] О себе (*лат.*).

Мне, например, из моей первой книги «Вечер» (1912) сейчас по-настоящему нравятся только строки:

Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое в моих стихах.

С другой стороны, мне очень нравится оставшееся без всякого продолжения несколько темное и для меня вовсе не характерное стихотворение «Я пришла тебя сменить, сестра...» — там я люблю строки:

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

То же, о чем до сих пор часто упоминают критики, оставляет меня совершенно равнодушной.

Стихи еще делятся (для автора) на такие, о которых поэт может вспомнить, как он писал их, и на такие, которые как бы самозародились. В одних автор обречен слышать голос скрипки, некогда помогавший ему их сочинить, в других — стук вагона, мешавшего ему их написать. Стихи могут быть связаны с запахами духов и цветов. Шиповник в цикле «Шиповник цветет» действительно одуряюще благоухал в какой-то момент, связанный с этим циклом.

Это, однако, относится не только к собственным стихам. У Пушкина я слышу царскосельские водопады («сии живые воды»), конец которых еще застала я.

\+ \+ \+

И если Поэзии суждено цвести в 20-м веке именно на моей Родине, я, смею сказать, всегда была радостной и достоверной свидетельницей... И я уверена, что еще и сейчас мы не до конца знаем, каким волшебным хором поэтов мы обладаем, что русский язык молод и гибок, что мы еще совсем недавно пишем стихи, что мы их любим и верим им.

\+ + +

Слишком большая чувствительность в поэте ныне раздражает читателя. Читатель сам хочет быть чувствительным за двоих и потом он непрерывно помнит все, что ему пришлось испытать в жизни и его раздражают претензии поэта потчевать читателя собственными бедствиями. Этот подход к читателю устарел. Исход этого состязания предрешен, потому право голоса имеет только читатель: поэт уже сказал свое слово и его никто не спрашивает.

24 декабря 1959
Европейский Сочельник

СОДЕРЖАНИЕ

Ветер войны

Издательство МПИ готовит к выпуску в свет книгу А. Ф. Лосева «Диалектика мифа» — одно из ярчайших достижений русской философской мысли. Автор в сжатой форме определяет роль мифологической литературы в формировании мировоззрения на разных этапах развития европейской и мировой культуры.

Впервые «Диалектика мифа» издавалась в конце двадцатых годов. И вновь произойдет ее рождение... Во вступительных статьях предполагаемого издания анализируются культорологические и философские позиции А. Ф. Лосева в контексте современных теорий.

Издательство МПИ готовит к выпуску в свет сборник статей «Об искусстве» Павла Александровича Флоренского — выдающегося философа, мыслителя, человека высочайшей духовной силы, под влиянием которого сформировалось целое поколение деятелей русской культуры.

Сборник составлен из работ, касающихся вопросов искусствоведения и художественного творчества.

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

ПОСЛЕ ВСЕГО

Книга подготовлена бригадой в составе:
Белла Соловьева (руководитель бригады),
Маргарита Шабурова (редактор),
Александр Белослудцев (художник),
Тамара Селиверстова (художественно-технический редактор)

ИБ № 161

Сдано в набор 30.03.89.
Подписано в печать 15.08.89.
Формат 70×100 1/32.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Универс».
Печать офсетная.
Усл. печ. 23,73.
Усл. кр.—отт.12,0.
Уч.—изд. 9,92.
Тираж 80 000 экз. 4000 экз.—собственность издательства МПИ
Тип. заказ 584.
Изд. № 36.
Цена 2 руб. 50 коп. (В переплете—3 руб.)

Издательство МПИ.
107045, Москва, Садовая Спасская ул., 6.
Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам печати. 143200 Можайск, ул. Мира, 93.


2 р. 50 к.